ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK 1981

ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK 1981

Vladimir Bukovsky

LETTER OF A RUSSIAN TRAVELER

Published by: Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Manufactured in USA

СОДЕРЖАНИЕ

Нужно пожить в этом одиночестве без отдохновения, в этой тюрьме без досуга, именуемой Россией, чтобы осознать всю свободу, доступную любому другому в странах Европы, независимо от форм управления, принятых в них.

Если ваш сын не доволен во Франции, последуйте моему совету, скажите ему: "Поезжай в Россию". Такое путешествие благодатно воздействует на любого иностранца – тот, кто действительно видел Россию, будет счастлив жить где бы то ни было еще. Всегда полезно знать, что существует общество, где счастье невозможно, поскольку по закону своей природы человек не может быть счастлив, если он несвободен..."

Маркиз де Кюстин.
Россия в 1839.
Париж 1843 г.

"Неприлично изъясняться... откровенно отсюда, ибо могут здесь почитать меня или льстецом, или осуждателем; но не могу же не отдать и той справедливости, что надобно отрещись вовсе от общаго смысла и истины, если сказать, что нет здесь весьма много чрезвычайно хорошаго и подражания достойного. Все сие однакож не ослепляет меня до того, чтоб не видеть здесь столько же, или и больше, совершенно другого и такого, от чего нас Боже избави. Словом, сравнивая и то, и другое, осмелюсь Вашему сиятельству чистосердечно признаться, что если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нея отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству, нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Здесь конечно узнает он самым опытом очень скоро, что все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо умный и достойный человек везде редок, и что в нашем отечестве, как ни плохо иногда в нем бывает, можно однако быть столько же счастливому, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом..."

Письма Д.И. Фонвизина
к графу Н.И. Панину
Париж, 1778 г.

ГЛАВА О ГЛАСНОСТИ

"Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, кажется в сердце мое, и развевает в нем чувство радости. Какие места! какие места!..

Щастливые швейцарцы! всякий ли час благодарите Вы небо за свое щастье, живучи в объятьях прелестной Натуры, под благодетельными законами братского союза, в простате нравов, и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть конечно приятное сновидение..."

Н.М. Карамзин.
Письма русского
путешественника
Июль, 1789 г.

* * *

Хорошо, наверно, было им путешествовать в старину, не торопясь, в карете. Захотел – остановил кучера где-нибудь в альпийских лугах, огляделся, подышал густым ароматом полей да здесь же, у дороги, присев на камешек, и записал в тетрадку свои путевые впечатления...

Теперь русский человек едет за границу все больше впопыхах, с билетом в один конец да с

клочком бумаги вместо всех документов: "виза выездная, обыкновенная", на постоянное жительство в Государство Израиль. Воссоединяется с великой семьей человеческой. И уж так спешит, так торопится, что недосуг ему думать о прелестной Натуре. Однако же, прибыв в Вену, все-таки и он нашел бы, что записать в тетрадку. Эпопею хождения в ОВИР, беседы в КГБ о проблемах Ближнего Востока, таможню, обыск, пограничников, саму Вену наконец. Хоть какая-то цепь логически связанных событий, хоть какое-то время на их осмысление.

У меня же и того не было. Еще несколько часов назад ругался я с гражданином начальником из-за сапог да запрещенные предметы прятал в телогрейку, с полной уверенностью, что ведут меня просто в карцер или на шмон. Ну, в лучшем случае, на новое следствие. Всего лишь минут сорок как сняли с меня наручники, да и то со скандалом. И вот тебе – Запад. Цюрих? – Цюююююрих? Что-то я такой пересылки не слышал...

От первых двух недель в Швейцарии не осталось у меня практически ничего. Так, разрозненные факты и смутные ощущения. Зима была на редкость снежная для здешних мест, "белая зима" – говорили местные жители. Кажется, я все время щурился, будто вылез из погреба на яркий свет. А еще постоянно возникали недоразумения с автомобилями: я жду их, они – ждут меня, и так продолжалось долго, пока я, наконец, не привык, что здесь машины уступают дорогу пешеходу, а не наоборот. Еще стеснялся я сорить на улице, окурки нес в кулаке, покуда не по-

встречается урна. Неудобно, на Западе все-таки... И уж где там приостановить коней да оглядеться! Одних только телевизионных интервью было у меня по пять-шесть ежедневно, не считая газет и журналов.

– Не горюй, – успокаивали друзья. – Первое время всегда так. Потом уймутся, отстанут. Отказываться только хуже, дольше будут приставать. Лучше сразу перетерпи.

И я терпел. Как боксера в десятом раунде водой попрыскают, полотенцем помашут – и опять на ринг в спину выпихнут.

Но последний раунд так и не наступал, а становилось все хуже и хуже. Начались поездки. Девять дней в Англии, день в Париже, три дня в Голландии, неделя в Германии, потом назад в Цюрих, опять в Англию, опять во Францию, опять в Германию. Из аэропорта – в отель, из отеля – в аэропорт. Так, пожалуй, мне это время и запомнилось – как бесконечный полет. Потому что каждый раз, оторвавшись от земли, я начисто забывал, где был да что делал. Безмятежное, беспошлинное (duty-free) состояние, когда можно спокойно потягивать свой "дринк", ни о чем не думая, да глядеть в окошко на громоздящиеся облака. Эк их сколько наворотило! Счастливые облака! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы Небо за свое счастье!

То ли характер у меня такой неудачный, то ли не везет, но только всю жизнь приходится мне делать то, чего больше всего не хочется, против воли, через силу и сцепив зубы. Разве я того хотел, чтоб всю жизнь спешить и ничего не успеть?

Спорить с дураком, уговаривать робкого и кричать в ухо глухому? Я всегда хотел заниматься чем-то осмысленным и не терпящим спешки – ремеслом или наукой, например. Стругать доски, сыпля золотыми курчавыми стружками, точить камень, лепить из глины причудливые фигурки и кувшины, дуть стекло или ловить рыбу в ручье, стоя по колено в воде.

Конечно же, я хотел путешествовать. Но разве так? Чтобы, не допив одного стакана, перелететь три страны, ничего не увидев? Я хотел идти медленно, оглядываясь по сторонам, вдыхая запах полей. Ночевать в стогу или на сеновале, слышать петуха на рассвете и кукушку на закате.

Да видно, в ту смурную ночь, когда я родился, наш Верховный Нарядчик на разводе у ворот небесной вахты достал мою карточку и, спросивши для порядку имя-отчество, отчеканил, нахмуря брови:

– А тебе – век маяться, не своим делом заниматься.

Ему ведь не важно, чего ты хочешь, ему бы только работу распределить. Поди теперь обжалуй в высшие инстанции. Нет инстанции выше небесного трибунала.

Ведь вот я ненавижу писать, просто заболеваю от этого. Спать не могу ночами, есть перестаю, и каждая написанная страница стоит мне нескольких месяцев жизни. А куда денешься – третью книгу издаю. За первую дали мне двенадцать лет. Со второй хлебнул столько, хоть об этом книгу пиши. Что будет с этой, надеюсь, последней, – подумать страшно.

Что может быть нелепее, как оказаться внезапно в роли профессионального героя, которого, словно чудотворную икону, перевозят из города в город? Толпа фотокорреспондентов отступает перед тобой, теряя туфли, и щелкает, щелкает, щелкает, слепит вспышками. Суетятся телеоператоры, путаясь в проводах, суют тебе под нос какую-то черную резиновую дубинку. Что, собственно, особенного хотят они поймать в твоем лице или уловить в твоем дыхании? Почему они так неистово толкают друг друга, словно их снимок выйдет тем лучше, чем хуже получится у соседа? И так вся эта вакханалия медленно пятится вперед, а тебе остается только глупо улыбаться да сопеть как можно тише.

Появиться просто так уже нигде нельзя, потому что от тебя всюду ждут чего-то необыкновенного: глубокомысленных замечаний, речей, острот, рассказов – и уж, в крайнем случае, примутся, прижав к стенке, осаждать вопросами. Себе ты уже не принадлежишь: каждая минута расписана на год вперед, словно график почтового поезда. И уж что бы с тобой ни произошло, чего бы ты ни натворил – все сразу же оказывается в центре внимания. Ни одного промаха тебе не простят.

Поразительная эта потребность в людях – создавать себе кумиров, а потом терзать их и ниспровергать. Любая нелепая случайность, даже несчастье, выбрасывает человека в луч прожектора – и он уже общественная собственность. По чистой прихоти блуждает этот прожектор над нашими головами, выхватывая из толпы то одно-

го, то другого. Но так уж, видимо, устроены человеки, что неудержимо тянет их этот свет, точно насекомых, становясь мерилом буквально всего: успеха, власти, счастья, богатства.

Вот это, пожалуй, и было моим первым серьезным впечатлением на Западе. Вернее, первым недоумением. Для нас там, в Советском Союзе, *гласность* была оружием, средством борьбы с бесправием и произволом. И еще – средством защиты, как страховочный пояс для альпиниста. Здесь же, оказывается, и слова-то такого нет ни в одном европейском языке, а называется это все словом *паблисити,* смысл которого далеко не тот же самый. В русском слове "гласность" есть что-то холодное и точное, как в хирургическом инструменте, что-то очень серьезное и торжественное, отчего немедленно представляешь себе степенного думского дьяка, в бороде и долгополом кафтане, оглашающего от Спасских ворот государеву грамоту. В общем, что-то от присяги говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. В разухабистом "паблисити" слышится нашему уху какая-то свистопляска, нечто срамное и постыдное, будто ведут тебя голым по улице, а вокруг улюлюкает толпа, и следом бегут мальчишки, свистя в два пальца. Приравнивает тебя это словечко к знаменитому клоуну, футболисту или только что пойманному головорезу.

Что ж, думал я, так, видимо, и должно быть при демократии, народовластии. Оттого, наверно, здесь и оказываются влиятельными политиками популярные киноактеры или эстрадные

певички – и, наоборот, чтобы стать политиком, приходится быть хорошим актером.

Не сказать, чтобы догадка эта сильно меня расстроила, а облик демократии потускнел. Все-таки лучше, чем наши московские упыри. Однако был я необычайно поражен своим открытием. Так, наверно, изумился бы какой-нибудь папуас, увидев свое боевое копье в качестве декоративного украшения на стене парижского ресторана или лондонской пивной.

Дело ведь не только в семантике. Само собой разумеется, что мне гласность нужна была *там*, пока я воевал с чекистами да с тюремным режимом. Теперь же, когда я вне опасности и поля боя, она нужна тем, кто остался. Расходовать эту драгоценную штуковину попусту – все равно что красть чью-то свободу или даже жизнь. Вспомнить только, чего стоило тайком передать из тюрьмы крохотульную записочку, через десятки рук, путем невероятных ухищрений и риска, – о тех, кто нуждался в этой самой гласности. Затем, уже в Москве, нужно еще было уговорить кого-то из корреспондентов, чтоб он дал ей ход. Да и это еще не все, потому что где-то там, на Западе, незнакомый нам человек по имени Главный Редактор может решить иначе. И вот теперь вдруг оказывалось, что наша острорежущая Гласность где-то по дороге превращается в распутную Паблисити.

Если гласность – нечто объективное, безличное, а добиваться ее – дело общественнополезное, то паблисити остается при тебе как клеймо на лбу, касается исключительно тебя самого, и

домогаться ее также стыдно, как выпрашивать деньги у богатого родственника. Никто из нас этого бы не захотел. Да никто из нас и не считал геройством то, что мы делали.

Словом, опять послал меня нарядчик на чужую работу. Но сколько ни сетуй, а в каждом лагере свои порядки, и сколько ни ропщи на судьбу – легче не станет. Выступил в одном месте – не миновать тебе других, с ним конкурирующих. Дал интервью одной газете – тут как тут и все остальные. Иначе обида, а то и хуже – подозрение, что отказываешься по политическим соображениям. Друзья же только подталкивают:

– Пока тебя еще слушают – скажи про того да упомяни этого. – И хоть пользы обычно мало, а невозможно не попытаться хоть как-то помочь бывшим сокамерникам. Хоть упомянуть лишний раз.

К тому же интерес и симпатии общественного мнения к нашим проблемам как раз в тот момент был огромен, желание помочь, понять, поддержать – невероятное. Наше движение стремительно выходило на мировую арену, становясь фактором международной политики, отчего у него появились могущественные враги. Когда тут отдыхать да оглядываться?

Только уж больно не подходила мне эта роль, и жил я первые годы с постоянным чувством неловкости, точно самозванец, выдающий себя за врача, которого позвали к постели тяжелобольного. Выступать я не умею и не люблю. Речей вообще произносить не могу. Что ни скажи – звучит глупо, нескладно. Главное же – мучительно трудно заставить себя не глядеть на слушающих

с мыслью о том, что же будет, если вдруг забудешь, о чем говорить нужно. Не бояться потерять мысль или запнуться. Представить даже страшно: я сижу молчу, и они сидят молчат. И чем дальше, тем хуже. Хоть бы еще курить разрешали в этих залах!

Телевизионных камер тоже боюсь, а этого-то как раз показывать нельзя. Телевидение – такая штуковина, где, в общем-то, неважно, *что* ты говоришь, а важно, *как*. Артист же из меня никудышний.

В довершение всех бед, имел я глупость на первой своей пресс-конференции в Цюрихе заговорить по-английски, и уж потом никто мне по-русски говорить не позволял. Все требовали английского. Язык я знал тогда больше пассивно, выразить свою мысль точно не мог. Словом, мука.

Да, вот еще досада – галстук. Терпеть я их не могу и никогда не носил. Лишь однажды его на меня силой надели, в Лефортове, перед отправкой в Цюрих, когда я в наручниках был. Теперь же, куда ни идешь – цепляй эту гадость.

Только вот на вопросы отвечать мне было сравнительно легко – видно, оттого что привык я к допросам. К тому же, вопросы во всех частях света примерно одинаковые, и через некоторое время я мог заранее предсказать их.

Но было два вопроса, которых я панически боялся, совершенно не зная, что ответить.

– А вы, собственно, кто такой будете?

И что мне сказать?

И смех, и грех. Получил я как-то анкету из "International Who's Who" и долго ломал себе го-

лову: что писать и в какую графу. Если строго следовать поставленным вопросам, то мог я написать только свое имя и дату рождения. В остальных же графах следовало поставить прочерк. Ведь они не спрашивают, за что сидел, сколько и когда освобождался, а мне и писать больше нечего. Не в графу же "хобби" все это вставить. Да у них там и места мало оставлено. А куда? В "образование"? "Членство в клубах и обществах"? Помучился я, помучился и вписал все аресты в графу "Данные о занимаемых должностях", а все освобождения – в "Почести, премии, награды". Чушь какая-то! Теперь хоть легче стало, говорю, что студент в Кембридже.

Второй же вопрос: почему состоялся обмен и обменяли именно меня – долго оставался без ответа, да и сейчас не до конца ясен.

В самом деле – почему? Слишком хорошо мы знаем психологию наших кремлевских "тавaрышей", чтобы хоть на секунду поверить в случайность их решения или, тем более, в гуманный порыв. Не такие они ребята, чтобы самим себе навредить без всякой нужды. Ведь как ни смотри, а выходил этот обмен для них серьезным политическим поражением.

Во-первых, этим обменом они косвенно признавали, что в СССР есть политзаключенные – факт, который до сих пор категорически отрицался советским руководством и пропагандой.

Во-вторых, такая странная сделка ставит их на одну доску с режимом Пиночета, который они сами на всех перекрестках объявляют фашистским. И хоть мы-то знаем, что советский режим

пострашнее – хотя бы одной своей живучестью, агрессивностью и наличием организованных сторонников в любой стране мира, но и такая параллель – значительный удар по престижу и позиции просоветских сил.

Наконец, очевидно же было, что обмен будет расценен всеми как уступка, сделанная под давлением общественного мнения и кампании протеста, а значит, поощрит такие кампании в будущем.

Достаточно просмотреть реакцию даже коммунистической прессы Запада, чтобы понять, в какой же просак попали они с этим обменом.

"Унита", Италия:

"Вполне понятно, что Пиночет ухватился за план обмена Корвалана и Буковского. Что ему это дает политические выгоды – ясно каждому. Но чтобы этот обмен был выгоден и для советской стороны – сказать нельзя. Москва не только отдала все козыри чилийскому режиму, но косвенно еще и признала, что Буковский был *политическим* заключенным... Линия поведения советских руководителей нанесла удар по социализму во всем мире".

"Морнинг Стар", Англия:

"Обмен льет воду на мельницу тех, кто утверждает, что в социалистических странах, как и в фашистских, нет демократии... Приходится сожалеть, что освобождение Буковского связано с его высылкой за границу и произошло путем обмена между фашистской и социалистической страной вместо того, чтобы быть просто актом справедливости".

"Юманите", Франция:

"Два человека, два политических заключенных стали предметом прискорбного обмена... Мы считаем недопустимым, чтобы люди были поставлены перед таким невозможным выбором: или тюрьма, или высылка. Мы считаем недопустимой подобную сделку..." *(Из заявления генсека ФКП Ж. Марше)*.

"... Действия советских властей позволяют утверждать, что советский режим ничуть не лучше, ничуть не гуманнее фашистского режима военной диктатуры генерала Пиночета... Пиночету удалось перед всем миром выставить советский строй в виде такого же режима подавления свободы, как и диктатура в Чили. И если печать социалистических стран освобождение Корвалана празднует как свою победу, а освобождение Буковского замалчивает, то это означает, что и она попалась на удочку Пиночета..." *(Из передовой статьи главного редактора Р. Андрие)*.

Действительно... Как же так, товарищи? Попались на удочку, льете воду на мельницу, все козыри отдали... И, главное, зачем? Чтобы спасти товарища Лючо? Никогда не поверю. Наши кремлевские старички отнюдь не сентиментальны, и чилийские, уругвайские, боливийские товарищи нужны им как раз в тюрьме, чтобы вопить и спекулировать добрыми чувствами доверчивых людей. Что с ними делать в Москве? Да ведь и сам Корвалан отказывался сначала от обмена. Только после приказа из Москвы согласился. Да ведь и сиделось ему в тот момент совсем не плохо: чуть не каждый день интервью прессе давал – не то что мы, записочки, да через десятые руки, да с риском. А и убили бы – тоже у Брежнева

голова бы не разболелась. Даже хорошо -- еще один коммунистический мученик, есть кого ставить в пример молодежи.

Так зачем же, зачем?

Я трудился в догадках, и чем больше ломал себе голову, тем меньше понимал. Но ведь должен же быть в этом какой-то трюк, какой-то подвох.

Конечно, -- рассуждал я, -- поймали их на их же собственной демагогии. Уже три года как все советские, социалистические и "прогрессивные" газеты мира вопили: *Свободу Луису Корвалану!* И вдруг -- предложение обмена. Как быть?

Однако вряд ли это поставило бы серьезную проблему советской пропаганде. Очень даже удобно встать в позу моралиста и человеколюбца. Вот Марше же пишет, что недопустимы подобные сделки. Да что Марше? Большинство газет расценивает обмен отрицательно.

"Дейли Миррор", Англия:

"Освобождение Буковского -- это триумф движения протеста, но отнюдь не триумф свободы".

"Фигаро", Франция:

"Международные отношения, по-видимому, заражены системой произвольных арестов и похищений. Нет больше международного права. На сцене остались враждующие шайки, которые обмениваются заложниками. Похоже на то, что начинается новая эра -- эра концлагерей в планетарном масштабе, порой смягчаемая обменом пленных".

"Берлингске тиддене", Дания:

"Конечно, лучше, когда политзаключенных высылают, вместо того, чтобы томить их в тюрьмах.

Но торговля людьми между Советским Союзом и Чили сама по себе омерзительна...".

Словом, очевидно, что, откажись советская сторона от обмена, никто бы ее не осудил. Наоборот, остался бы Пиночет без козырей и с ненужным ему Корваланом. Да, наконец, если уж так приспичило, разве нельзя было устроить ту же сделку тайно, тихо, недоказуемо... Вон -- федеративные немцы -- каждый год покупают заключенных у ГДР, и никто не шумит.

Между тем, советские продолжали делать одну ошибку за другой, одну другой глупее. Ни одна советская газета или газета соцстран о факте обмена не упоминала. Везде бурно приветствовалось освобождение Корвалана, а обо мне отдельно сообщалось, что-де выдворен за пределы СССР. Ближе всего к сути подошла наша любимая "Литературная газета". В номере от 22 декабря (т.е. через четыре дня после обмена), в статье, озаглавленной "Пульс недели. Здравствуй, дорогой друг!", она писала:

> "Луис Корвалан на свободе. Луис Корвалан в Советском Союзе... Сколь много выражают эти слова! За ними – гордая судьба человека, коммуниста, готового пожертвовать всем, даже жизнью, во имя народного дела, своих убеждений. За ними – три года тюремного заключения, равных длительной пытке. За ними – злобное бессилие современного чилийского фашизма и любого неофашизма вообще, который еще в состоянии заключить коммуниста в тюремные оковы, даже убить, но поставить на колени – никогда! Наконец, за этими словами – сила, мощь мирового социализма, общественного мнения всего прогрес-

сивного человечества, сыгравшие главную, решающую роль в деле освобождения товарища Корвалана.

"Освободили" ли его фашистские палачи? О нет, его вырвали из цепких, окровавленных рук врагов чилийского народа...

... Сейчас явные и тайные поклонники Пиночета пытаются представить дело так, будто освобождение Корвалана – всего лишь результат сделки; он, дескать, был просто обменен на "диссидента" или, говоря яснее, антисоветчика Буковского.

Да, страстное желание получить этого субъекта Пиночет, как мы выяснили, действительно выразил через представителей "третьей страны". Антисоветский облик Буковского проступил еще сильнее после того, как к нему воспылал любовью чилийский палач.

Они взаимно разоблачили друг друга, так сказать, дополнительно.

Но главное в другом. В том, что славный сын чилийского народа, несгибаемый коммунист наконец обрел свободу...".

В тот же день ТАСС заявил, что мне "разрешили выехать за пределы СССР" по моей "собственной просьбе". Что за комедия? Точно воры, пойманные с поличным.

"Советские газеты делают все возможное, чтобы скрыть правду от читателей, – *ехидно писала "Монд",* – но сможет ли советская печать долго замалчивать эту правду? Ее сообщения о том, что лидер чилийских коммунистов освобожден благодаря "широкой международной солидарности", вызывает усмешку у многих людей в СССР, которые слушают передачи зарубежных радиостанций".

Конечно, как и следовало ожидать, советская пропаганда обрушила мне вдогонку заранее за-

готовленный залп клеветы. 22-го -- ТАСС и "Литературная газета"; 24-го -- Московское радио: "Недостойная шумиха"; 25-го -- "Труд": "Преступник" в тоге 'героя'; 26-го -- "Известия" : "Притча об одном "великомученике" и его духовных отцах". Конечно же, именовался я не иначе как уголовным преступником -- политических ведь у нас нет. Конечно же, их излюбленное "недоучившийся студент" -- "и среднюю-то школу закончил с грехом пополам, а с первого курса вуза был отчислен за полную неспособность к учению"; "полуграмотный субъект, болезненно тщеславный, пытающийся компенсировать свою интеллектуальную неполноценность и самоутвердиться с помощью экстремизма, провокационных выходок, откровенного хулиганства". "Любой здравомыслящий человек легко распознает бред параноика в мечтах Буковского о захвате власти и не ошибется. Действительно, он однажды уже проходил курс лечения, однако это не изменило, мягко выражаясь, странный характер его идей".

Всего этого следовало ожидать. Но было коечто и новое. Оказывается, я был осужден за то, что "создал т.н. 'штурмовую пятерку' для совершения террористических актов", "готовясь к этому, члены 'пятерки' выезжали в лес и тренировались в стрельбе". Вот только в дате газеты расходились: у одних это было в 1965 году, у других -- в 1970-м, у третьих -- в 70-х годах... Далее, я, оказывается, получал у "фашистских последышей и других подрывных центров валюту, звукозаписывающую технику и фотоаппарату-

ру". Разумеется, всячески обыгрывался Пиночет и его ко мне особое расположение. То ли он меня еще только пригласил, то ли я уже поехал или вот-вот поеду. Заканчивалось же неизменно предсказанием, что очень скоро все сами увидят, кто я такой, всем станет стыдно и обо мне поскорей забудут.

Выглядело это как-то слабо. Какой я есть да куда поеду, здесь и сами увидят. Насчет того, как я "недоучился", им лучше было бы промолчать -- история была не в их пользу, и о ней здесь газеты уже писали. Дебютная же их новинка с "пятерками" и терроризмом могла вызвать только смех.

> "В бюллетене АПН, выпускаемом в Брюсселе на французском языке, – *иронизировала газета бельгийской компартии "Драпо руж"*, – Буковскому приписывается намерение бороться с советской властью "методами террора и физического уничтожения людей". Если это верно, то непонятно, почему советские власти разрешили такому опасному человеку выехать за границу, притом с паспортом, действительным на пять лет".

> "Буковского обвиняют в создании группы из пяти человек с целью свержения советской власти. Хорошо, что не из шести, а то, может, бедное государство и рухнуло бы..." *("Вельт")*.

И это все? Вся их пропагандистская заготовка? Так зачем же было устраивать сенсационный обмен на глазах у всего мира? Зачем же давать своему врагу такое паблисити? Что бы там ни писала "Унита", я-то понимал, что все козыри отдали мне, а не Пиночету.

Существовал еще, конечно, мой товарищ по обмену Корвалан. Естественно, от сопоставления чилийского режима с советским и Брежнева с Пиночетом общественное любопытство перекочевало на нас с ним. Всем хотелось знать, что мы друг о друге думаем, за что воюем и как видим будущее. Ужасно хотелось прессе, чтобы мы сели за один столик и мирно поговорили. Для меня это никакой проблемы не представляло — Корвалан же ни по своей партийной принадлежности, ни по вполне понятному чувству долга перед своими спасителями такой буржуазной идиллии допустить не мог. Много раз предлагала нам пресса подобную встречу, и неизменно я соглашался, а он отказывался. К тому же, согласившись ехать в Москву, он попросту сменил одну тюрьму на другую — с той лишь разницей, что в новой тюремщиками оказались его партийные товарищи. В первом же выступлении по советскому телевидению он был принужден наговорить такого, что последующие встречи с западной прессой стали просто бессмысленны. Конечно, ему пришлось во всем хвалить Советский Союз, одобрять оккупацию Чехословакии и заявлять, что в СССР нет политзаключенных. А когда через несколько дней на торжественном приеме в Кремле его лобызал Леонид Ильич, мне стало искренне жаль беднягу. Я даже высказал журналистам свое опасение, что скоро нам вновь придется вести кампанию за его освобождение и менять на кого-нибудь еще.

...И вот, после двух лихорадочных недель в Цюрихе, опять мелькнула за окном самолета

швейцарская белая зима, растаяли внизу заснеженные елки и аккуратные домики. Так ничего и не увидел я – ни прелестной Натуры, ни простоты нравов. Разве что приятное сновидение. Вернее, пробуждение – как в детстве, в новогоднее утро, когда просыпаешься с приятной уверенностью, что где-то тут, рядом с кроватью, должен лежать подарок от Деда Мороза. Только в детстве не спрашиваешь: – За что?

* * *

Нет никакой возможности установить теперь, кто же первый придумал идею нашего обмена. По крайней мере, десяток людей претендуют на это, с бóльшими или меньшими основаниями. По-видимому, идея носилась в воздухе, циркулировала как шутка, потом как слух, затем как нечто серьезное: в самом деле, а почему бы нет? Ведь даже у нас в тюрьме, читая каждый день в советских газетах истошные призывы в защиту Корвалана, злились зеки:

– И чего вопят, будто у самих не полны тюрьмы? Ну, взяли бы и обменяли, если он действительно так их заботит!

Достоверно известно только, что еще в 1973 году, сразу как чилийцы объявили об аресте Корвалана, одна голландка обратилась через посла Чили в Нидерландах к Пиночету, предлагая этот самый обмен. Позже, уже в 1975-м, один австрийский журналист в беседе с влиятельными советскими чиновниками, абсолютно независимо от голландки и совсем про нее не зная, предлагал то же самое. По его словам, совет-

ские сначала отмахнулись от идеи как от бредовой, однако при следующей встрече были более внимательны и слушали с интересом.

Рассказывают также про некоего полковника -- или даже генерала – из чилийского генерального штаба, русского по происхождению, который якобы с самого начала пытался протолкнуть эту идею Пиночету, что в конце концов ему и удалось. Сам я этого человека никогда не встречал, а потому ни подтвердить, ни опровергнуть данную версию не в состоянии. И уж совсем неожиданно узнал я из письма одного католического священника, случайно попавшего мне в руки и даже адресованного не мне, что этот достойный служитель культа, будучи настроен просоветски (оказывается, и такое бывает), принял участие в тайных переговорах об обмене Корвалана, "находившегося тогда в ужасающих условиях, на одну из очередных советских пешек".

Как бы то ни было, а публично идея была впервые заявлена одновременно Сахаровским Комитетом в Дании и самим Сахаровым в Москве на пресс-конференции уже в 1976 году. Затем последовали переговоры через "третью страну", то бишь через Госдепартамент США. Впоследствии я узнал, что переговоры вел Зонненфельдт. Он сам передал мне через общего знакомого, что хоть и придерживаемся мы абсолютно разных взглядов, однако за одно хотя бы я должен сказать ему спасибо – за обмен. И действительно, дабы не слыть больше неблагодарным, следует мне теперь исправить свою оплошность -- поблагодарить трех людей, которых я до сих пор по

невоспитанности ни разу не поблагодарил: Пиночета, Зонненфельдта и Брежнева.

А впрочем, так ли уж важно устанавливать, кто и каком образом переставлял пешки, если основная причина моего обмена — гораздо глубже.

* * *

Поразительная это вещь — общественные кампании. При том обилии известий о человеческих страданиях, ужасах и несчастьях, которое обрушивается на нас каждый день, даже удивительно, что люди не очерствели, не стали абсолютно безразличны.

Изможденные, полумертвые дети Камбоджи или Уганды с торчащими ребрами и вспухшими животами, тонущие в море вьетнамские беженцы, захваченные кем-то заложники или просто мать, борющаяся за спасение больного ребенка, целые народы и отдельные люди, истребляемые животные и разрушающиеся памятники древности — все это вопиет ежедневно с экранов телевизоров, взывает о помощи со страниц газет.

Казалось бы, ничем уже не удивишь человека, ничем не растревожишь. Да ведь у каждого еще и свои проблемы, свои беды... И все же практически любое человеческое несчастье вызывает теплую волну сочувствия. Вовсе не богатые люди, урезывая себя, посылают деньги, да еще стыдятся, что мало. Очень занятые люди отрываются от срочных дел, чтобы писать трогательные письма. Теребят свои правительства, собирают подписи, мерзнут у посольств с самодельными

плакатиками. Сотни и тысячи собираются на демонстрации, защищая незнакомых им людей в таких иногда отдаленных уголках света, о которых вчера еще никто не слыхал.

Эта вот неиссякаемая щедрость, беспредельность сочувствия и сострадания -- пожалуй, самое лучшее, что довелось мне видеть. Пусть мне возразят, что таковы далеко не все, что куда больше апатичных и бескорыстных. Я-то знаю: то, что есть, -- уже чудо.

Замечательна сама живущая в человеке потребность отозваться на крик бедствия, сделать хоть что-то даже без уверенности достичь цели. Изумительно чувство ответственности за чужую боль. И если оно исчезнет однажды -- не станет и того, что мы именуем человечеством. Да и человеков не останется вскоре.

Любопытно, однако, что при всем при этом не чувствуют люди своей силы, не замечают, что сами же являются творцами событий. Часто и выглядит кампания как забава: значки, разрисованные футболки, почтовые открытки да пару раз пройтись по улицам с плакатами, и вдруг -- чудо. "Победа мирового общественного мнения", -- солидно произнесут газеты. Но звучит это как-то слишком абстрактно, слишком серьезно. "Нет, -- думает человек, -- тут, должно быть, что-то еще, какая-то тайная история... Тайная дипломатия, сделка, обмен даже".

Только проехав несколько стран, смог я убедиться, какая мощная кампания стояла за моим обменом. Не было такого места, где бы она отсутствовала. На каждом митинге сотни людей да-

рили мне копии своих петиций и вырезки из газет. Парламентарии показывали копии своих резолюций, политики – копии протестов советскому руководству. И при этом почти каждый удивлялся: почему же все-таки меня освободили?

Как ни странно, тоталитарные режимы весьма чувствительны к общественному давлению, только тщательно скрывают это. Эти режимы держатся на страхе и молчаливом соучастии окружающих. Каждый человек должен быть абсолютно беспомощным перед лицом государства, полностью бесправным и кругом виноватым. В этой атмосфере *слово* (даже сказанное из-за рубежа) приобретает огромную силу. (Недаром у нас расстреливали поэтов.) В то же время и власти, и народ отлично понимают незаконность режима, его *нелигитимность*. В этой скрытой гражданской войне заграница становится высшим арбитром. Как разбогатевший разбоем гангстер стремится, чтоб его приняло высшее общество, рядится в смокинг, подражает повадкам респектабельного дельца, так и советский режим жаждет, чтоб его приняли на равных в мировое общество. Давно отошли в тень восклицания о самом справедливом, самом счастливом, самом прогрессивном, самом-самом социалистическом государстве. "И у нас не хуже" или "А у них лучше, что ли?" – вот подтекст теперешней советской пропаганды.

И совершенно та же ситуация возникает во внешних отношениях. Советская агрессивность – прямая функция от внутренней нестабильности, от сознания своей незаконности. Они и хо-

тят стать равноправными членами мирового сообщества, и – органически не могут. Им не нужны союзники, партнеры, им нужны сателлиты и соучастники. Страх и молчаливое (а то и крикливое) соучастие – основные факторы советского внешнего могущества. (Впрочем, молчаливого соучастия мало – есть еще и весьма крикливое идеологическое соучастие. Отчасти оно по-прежнему держится мифами о самой счастливой, самой справедливой, самой прогрессивной жизни в СССР, но, поскольку мифы эти уже подмочены, основная задача его – направлять общественную энергию в иное русло: скажем, против Южной Африки, чтобы СССР продолжал сиять путеводной звездой.)

Прибавьте сюда прямую зависимость советской экономики от западной технологии, кредитов, оборудования – фактор весьма немаловажный. А теперь еще и зависимость от поставок зерна, мяса и проч. Прибавьте еще и постоянно нестабильное положение в восточно-европейских сателлитах, и станет ясно, как опасны им все эти значки да открытки, а вернее – солидно именуемое "мировое общественное мнение".

Но вот показывать эту зависимость им никак нельзя. Какой же смысл лишать свой народ свободных выборов и свободной печати, а потом все равно подчиняться общественному, да еще чужому? Поэтому советские власти стараются сделать все от них зависящее, чтобы убедить общественное мнение в неэффективности, а то и вредности открытых кампаний. И уж, конечно, торопиться они не станут, а только убедившись,

что с годами кампания не утихает, а нарастает, примутся искать способ решить проблему без шума – как бы по своей воле, а не под давлением.

Так что не без сознательной помощи советского режима Запад породил миф, что Советы, мол, к давлению извне нечувствительны, таковы уж эти "русские".

Меряя все на свой аршин, здесь готовы считать неудачной любую политическую акцию, которая не приносит желаемых результатов в течение двух-трех лет. Вешают руки, разочаровываются. На том и строится расчет кремлевских стратегов.

Мне просто повезло. Почти в каждой европейской стране оказались либо люди, знавшие меня лично, либо энтузиасты, принявшие мое дело особенно близко к сердцу.

В Германии Корнелия Герстенмайер, создавшая Общество прав человека, действовала настолько энергично, что ТАССу пришлось несколько раз делать заявления против нее. Советские власти давно уже считают Германию своей вотчиной, и поэтому деятельность Корнелии воспринималась ими особенно болезненно.

В Англии Дэвид Маркхем выстоял много недель у ворот советского посольства. К тому же поскольку мое дело было связано со злоупотреблением психиатрией в политических целях, английские психиатры и общественные организации (например, КАПА – кампания против злоупотреблений психиатрией) были мне постоянной поддержкой. То же можно сказать и о других странах. Вслед за КАПА возникли ана-

логичные комитеты во Франции, Швейцарии, Германии, не забывавшие обо мне. Хотя Конгресс Всемирной Ассоциации Психиатров, собравшись в Мехико в 1972 году, побоялся обсуждать представленную мной документацию, однако многие национальные ассоциации и психиатры разных стран были глубоко задеты таким постыдным решением, особенно после того, как в результате робости конгресса мне дали 12 лет "за клевету на советскую психиатрию".

Мощная поддержка организовалась в Голландии, где не только Хенк Вользак создал специальное общество, но и целый университет в Лейдене "адаптировал" меня как "своего" узника совести. Не обошлось и без курьезов. Одна милая семья на севере Голландии назвала моим именем свою скаковую лошадь, успешно выступавшую на голландских скачках. И прямо на этой лошади ее хозяйка Гертрудис регулярно приезжала к советскому посольству участвовать в демонстрациях. Можно себе представить, как это бесило советского посла.

Не забудем еще и группы Эмнести Интернейшнл, которые были особенно энергичны в моем деле. Среди них заметно выделялась американская журналистка Людмила Торн. Вместе с Патрицией Барнес -- женой известного театрального критика, -- они вели постоянную кампанию в мою защиту: устраивали манифестации, публиковали статьи в газетах... Вспомним также комитет американских писателей и журналистов, куда вошло много известных людей, не забудем многие десятки моих друзей, эмигрировавших к тому времени в разные страны, журналистов, с

которыми мне доводилось встречаться в Москве, членов Пен-Клуба, куда меня приняли заочно, и, конечно же, Джорджа Мини, лично много раз обращавшегося то к Никсону, то к Киссинджеру, то к Форду. Не забудем и верных норвежских друзей нашего движения художника Виктора Спарре и журналиста Лейфа Ховельсона. Словом, нет возможности перечислить всех, кому я обязан своим внезапным освобождением.

Шесть лет длилась эта, может быть, самая упорная и отчаянная кампания, все разрастаясь. Наконец, за полгода до новой конференции Всемирной Ассоциации Психиатров, когда шанс быть осужденными этим профессиональным сообществом реально появился, советским властям нужно было спешно отделаться от наиболее скандальных дел. Надо было как-то сбить нараставшую много лет волну общественного негодования.

Замечу в скобках, что для меня такой оборот дела был полной неожиданностью. В 1970 году, когда я взялся за сбор документации и дал первое интервью о психиатрических репрессиях, проблема казалась совершенно безнадежной. Авторитетные советские психиатры от участия в нашем начинании уклонились, побоялись репрессий. Рядовые психиатры -- первым из них был Глузман -- вскоре сами подверглись расправе. На западных же психиатров я не особеннс рассчитывал. Откуда им знать все сложности нашей жизни? Как поверить, вопреки мнению авторитетных советских коллег, с которыми к тому же регулярно встречаешься на международных

конференциях, что какой-то неизвестный человек не нуждается в принудительном психиатрическом лечении?

Однако, по иронии судьбы, именно это дело оказалось одним из самых успешных в двадцатилетней истории нашего движения. Сама идея помещения здорового человека в сумасшедший дом по политическим причинам захватывала воображение трагизмом ситуации, неизбежно приводила к философским проблемам относительности понятий и определений психического здоровья, и каждый легко представлял себя на месте жертвы. В наш век культа науки и машин, в век государственных регламентаций и неосознанного страха потерять где-то в проводках да лампочках человеческую личность, проблема психиатрии приобрела неожиданную остроту, общечеловеческое звучание. "Порвалась связь времен", и из контекста коммунистического неолита наша проблема прорвалась в компьютерную цивилизацию XXI века. Мы лишь смутно догадывались о том, что произошло, когда, изолированные от мира в своем пермском концлагере, писали с Глузманом "Пособие по психиатрии для инакомыслящих".

Тема стала модной. Вызывала научные споры и полемику в газетах. Давно уж освободили тех, за кого я старался, число психиатрических преследований несколько снизилось, а волна протеста продолжала расти. Стремясь как-то выправить опасный крен и сбросить "балласт", советские наделали еще больше оплошностей: выгнали на Запад почти всех бывших "политпсихов"

-- тут их, конечно, освидетельствовали и нашли здоровыми. Выпустили и нескольких советских психиатров, рассказавших о злоупотреблении их профессией. Все это лишь подлило масла в огонь. Проблема наша не только приобрела права гражданства на Западе, но даже "институционализировалась": появились диссертации, солидная библиография и комиссии по изучению... Появились даже люди, профессионально заинтересованные в новых и новых случаях психиатрических репрессий. Я думаю, все это и доконало советских упрямцев. Не оставалось никакой надежды на "спад" -- только выпустить тех, о ком особенно шумят, и переждать шторм. А коль скоро я по воле случая оказался в самом его центре, мое освобождение было предрешено.

Вспомним также, что и время было особенно благоприятное для таких кампаний. Идея прав человека стала вдруг необычайно популярна, как всегда бывает после увлечения коллективистскими идеями. Еще каких-нибудь 10-15 лет назад, когда появились первые сообщения о психиатрических преследованиях в нашей стране (случай В. Тарсиса, М. Нарицы, еще раньше -- А. Есенина-Вольпина), это не вызвало массового интереса. Теперь же на смену марксистскому средневековью шел гуманистический ренессанс. А выход "Архипелага ГУЛаг", естественно, привлек все взоры на восток. Идея "диссидентов", "диссидентства" внезапно стала чуть ли не центральной в общественной жизни. Для разочарованной в марксистской догме молодежи она оказалась новой верой. Да и сейчас еще эта тема со-

бирает многотысячные молодежные аудитории во Франции и Италии. То, что было неосознанным импульсом в так называемой "революции 1968 года", вдруг обрело словесное выражение, а наш опыт оказался самым передовым.

Все вдруг превратились в диссидентов. Появились "диссиденты-марксисты", "диссиденты-католики", "художники-диссиденты", "писатели-диссиденты"... Никто не мог точно сказать, что это слово означает. Да и неважно. Главное – против большинства, в одиночку, и чтоб преследовали. Психиатрия вообще как символ ненавистного здравого смысла, буржуазного приспособленчества к условиям общества, символ истеблишмента, если хотите, – и противостоящий ей бунт нового, оригинального, ни в какие рамки не укладывающегося. Вот как преломилась наша проблема на Западе.

Поразительно, не правда ли? Сколько десятилетий, самых мрачных в нашей истории, когда миллионы уничтожались как "враги народа", а попавшие в психбольницу считали себя счастливчиками, наше общество было пределом мечтаний для такой же точно западной молодежи, какая сейчас содрагается от описания советских психиатрических тюрем. Наши палачи виделись им борцами против истеблишмента, а их истеблишмент казался нам защитой против наших палачей. Как в том популярном советском анекдоте, где два корабля встречаются посреди моря: один из СССР, другой – в СССР. Изумленные пассажиры высыпают на палубу обоих кораблей и, свесившись через борт, многозначительно крутят пальцем у виска: – Во психи!

Что же изменилось? За эти полвека стала советская власть, пожалуй, менее кровавой, чуть-чуть более похожей на нормальное государство, а стало быть, и немного более понятной постороннему. За это же время западные страны социализировались и кое в чем стали напоминать СССР. Коммунизм и вообще марксизм перестали быть идеей бунтарей, сделались принадлежностью истеблишмента. Обе стороны распознали друг в друге свою тень, свое подобие. Самое же парадоксальное, что эта политико-оптическая иллюзия раскрылась благодаря... психиатрии, благодаря нашему самиздату, нашим отчаянным протестам и жестоким судам над ними.

Ожидали ли мы такого поворота? Конечно, нет. У нас-то была конкретная проблема, отнюдь не символ. Конкретные люди, посаженные в конкретные психтюрьмы, и за их вполне конкретное освобождение нам надо было бороться. Да и о Западе мы думали очень мало. Он был для нас всего лишь возможной подмогой. Но так уж, видимо, устроены все идеологии, религии и верования, что непременно возводят конкретно случившееся в ранг символа. Ведь и для Христа крест, наверно, был всего лишь реальным деревянным крестом, а терновый венец — вполне реальной колючкой, царапавшей ему лицо.

Любое массовое движение, будь то движение за сохранение природы или в защиту животных, в условиях демократии непременно становится политической силой, которую все норовят приспособить к своим нуждам. Всеобщая Декларация

Прав Человека существовала с 1948 года, никого особенно не возбуждая. Теперь же, после нас, оказалось, что все: социалисты, коммунисты, католики, бизнесмены и правительства -- только о ней и заботятся.

Поначалу это новшество застало советских врасплох. Ни Ленин, ни Маркс ничего не говорили о правах человека. Инициатива на этот раз шла не от КПСС, "авангарда всего прогрессивного человечества", а значит, уже плохо. Да и зазевались они, упустив начало этого нового движения. Не то что, скажем, движение защитников мира, в 40-50 годы служившее их послушным инструментом. Из-за своей нерасторопности оказались они теперь под постоянным, все нарастающим общественным давлением и в значительной изоляции. И как ни вали все на Южную Африку да Латинскую Америку, а из-под обстрела уже не выйти. Думаю, что, согласившись на наш странный обмен, надеялись они еще изменить ситуацию. Не случайно им так хотелось, чтобы я к Пиночету поехал.

Конечно же, оправившись немного, взвыла советская пропаганда о "сотнях тысяч политических заключенных в США" ("даже сам Эндрю Янг признал этот факт в ООН"), о какой-то "уилмингтонской десятке", запретах на профессию в ФРГ и пытках в Ольстере. То есть опять по принципу "А у них лучше, что ли?". Соответственно, придя в себя от первого испуга, ожили всяческие просоветские "силы мирового социализма". Любимой темой у них стало рассуждать об относительности всего сущего, о том,

что дело лишь в градациях да оттенках, а в общем, мол, и на Западе не лучше... Государственные мужи успокоенно вернулись к своим сделкам, балансам и здоровому прагматизму. Но что-то очень важное и неуловимое успело измениться в мире.

Все больше и больше людей будет мерзнуть у посольств с самодельными плакатиками, хоть и не убавляется на земле несчастий. Советским же, хошь-не-хошь, надо как-то от нас избавляться.

* * *

В "Правде" нет известий, в "Известиях" нет правды.

(Любимая поговорка советских журналистов.)

На самом деле, если умело читать советские газеты, то можно составить довольно аккуратную картину политической жизни Запада или каких-то конкретных событий. Только нужно в совершенстве владеть искусством перевода советской символики, трюков и журналистских штампов, уметь читать между строк и помнить, что всякая публикация в СССР является результатом взаимодействия двух процессов: идеологического директивного контроля и стремления самих работников печати этот контроль надуть, обычно прикинувшись не в меру усердными дурачками. Так уж устроен советский человек, что непременно должен показывать в кармане кукиш родной советской власти. А как еще это сделать,

если не с видом услужливого идиота, который все хочет как лучше, а выходит наоборот?

Люди примитивные, без особых интеллектуальных запросов, склонны понимать советские газеты просто наоборот, так сказать, в зеркальном отображении. Если кого-то ругают – значит, хороший человек, а если хвалят – плохой. Если много стали говорить о мире – значит, быть войне, а стало быть, надо скорее закупать мыло, спички и соль, пока не исчезли из продажи. Если же хвалятся небывалым урожаем -- значит, быть голоду. Все это отчасти верно, однако такое упрощенчество лишает читателя большей части известий, оставляя голую правду. Важны ведь еще оттенки, градации степени. Словом, информация.

Например, сообщения из-за рубежа должны идти со ссылками на иностранные источники, причем совсем не безразлично -- какие. Искушенный советский читатель, судя по этому признаку, сразу поймет, что происходит. Скажем, ссылка на то, что "даже буржуазная газета "Монд" вынуждена признать...", или "даже такая недружественная нам газета, как "Нью-Йорк Таймс", сообщает...", или еще того лучше -- "газета "Гардиан", которую никак не заподозришь в симпатии к коммунизму, пишет...", -- означает очередной успех советских, прогрессивных и прочих сил. "И черт их дергает поддакивать, – расстраивается читатель. – А еще буржуазные да недружественные...".

Сообщения же со ссылкой на "Юманите", "Униту" и проч. – это уже получше. Хотя, конеч-

но, читатель наш не преминет ругнуть и их, но уже с облегчением, полупрезрительно -- скажем, обозвав "Униту" писсуаром: "Чего от них и ждать еще...".

А уж коль доходит до каких-нибудь "Унзере Цайт" или "Де ваархейд", да еще обычно без указания на их коммунистическую принадлежность, то это верный признак советского провала. "Ага! -- ликует читатель. --Прижали вас, голубчиков. И сказать больше нечего...".

Бывает, конечно, и того хуже -- совсем не на что сослаться. Наоборот, еще надо своих одергивать, которые слишком заеврокоммунистились. В таких (довольно редких) случаях сообщение уже идет не из-за рубежа, а просто маленькая заметочка, подписанная инициалами (или А. Петров). Тут уж ликованию нет предела.

И последнее, означающее просто катастрофу, -- когда подобное заявление делает ТАСС, как было вскоре после моего обмена:

> "Достойно сожаления, что к хору антисоветчиков в эти дни на Западе присоединились и некоторые другие голоса. Поддавшись, видимо, моде, отдельные деятели с чужого голоса начинают твердить о "нарушении в Советском Союзе прав человека". Эти люди забывают, что такая мода им не к лицу и не делает им чести."

Прелесть, правда? Каждый бы день читал такое! Читаются советские газеты несравненно быстрее западных. Средний объем советской газеты -- 4-6 страничек. Знающий читатель лишь просматривает заголовки, отыскивая привычные: "Про-

иски врагов разрядки", "Антисоветская вылазка", "Провокационная шумиха", "Их нравы" и т.п. Все остальное: репортажи о "трудовых буднях", колонки комментаторов и солидные подвалы обозревателей читаются по диагонали, лишь чтобы установить, зачем они написаны, с какой целью. Информации в них мало.

При этом огромное количество людей слушает западные радиостанции на русском языке и постоянно сравнивает услышанное с написанным в советской прессе. Официальная пресса перестает быть средством массовой информации. Даже если по принципу сломанных часов, дважды в сутки показывающих верное время, в газетах появится правдивое сообщение, ему все равно никто не поверит. Пресса у нас -- печатное воплощение власти, и читают ее, чтобы поймать на лжи, порадоваться неудаче или поглядеть: "Как же они на этот раз вывернутся? Какую еще глупость выдумают?"

Казалось бы, при таких отношениях с читателем прессе лучше всего вообще молчать про неудачи, не пытаясь выдать их за победы. Однако это совершенно невозможно: в условиях, когда население все равно знает правду, молчание -- признак растерянности, тупика и потери инициативы. Власть должна "дать достойный отпор", должна спустить указания миллионам инструкторов, комиссаров, лекторов и прочих работников идеологического фронта -- что отвечать, разъяснять и пропагандировать населению. Пусть это будет несусветная глупость. Неважно. Главное -- не молчать, не создать впечатления, что власть теряет контроль над событиями.

Одновременно то же самое нужно показать и Западу. Пусть смеются над глупостями и до одури распутывают клубки советского вранья. Неважно. Пока провал не признан официально -- это еще не провал.

Читая свою родную прессу, советский человек только плечами пожимает: "И кто может поверить такой чепухе? Ну, ладно, допустим, нас здесь можно оболванить. Но на Западе..." Оказалось, однако, что в этом мы как раз ошибались. Здесь советской чепухе верят гораздо больше, чем внутри страны.

Нас там сознательно лишают информации, а потому мы ищем ее по крупице где только можно. Здесь же люди перекормлены информацией и оттого воспринимают лишь то, что им хочется услышать. В результате, например, мы знаем о Западе гораздо больше, чем они о нас.

Мы знаем, что нас постоянно хотят обмануть, и в силу этого ищем обман во всем. Здесь обмана не ждут, не ищут, а потому воспринимают информацию куда менее критично. Забавный пример. Лет десять назад ученый мир оповестил человечество о своем последнем открытии: оказывается, употреблять естественную пищу -- масло, мясо и т.п. -- вредно. На Западе это сразу же привело к резкому сокращению потребления указанных продуктов, вызвало моду на всякие диеты, на обезжиренные суррогаты. Появившись в советской прессе, это же заявление вызвало лишь ироническую улыбку: "Надо же властям что-то придумывать, раз ни масла, ни мяса не хватает!"

Что такое пропаганда, на Западе знают лишь теоретически. До конца никто, даже правительства и контрразведки, не понимает всей серьезности идеологической войны, ведущейся против них. Классического шпиона в стиле Джеймс Бонда здесь, пожалуй, еще и распознают (хотя и это не популярно -- "охота за ведьмами"), а вот что такое идеологический агент, тут просто не понимают. Сидит где-нибудь в Вашингтоне уважаемый профессор и время от времени печатает в солидных изданиях совершенно советские статьи. Ну и что тут скажешь? Это его "мнение", и в условиях демократии он тоже имеет право его выражать. "Что в этом плохого? -- возразят мне. -- Пусть читатель сам решит, где истина." И здесь мы подходим к последнему, пожалуй, самому важному обстоятельству -- к принципу оценки истины.

Существует три отношения к истине:

-- истина должна быть одна;

-- истина должна лежать где-то посередине между разноречивыми суждениями;

-- истин много, в каждом суждении есть своя.

Разумеется, каждое из этих отношений может оказаться верным в применении к соответствующим категориям проблем. Беда, однако, в том, что у людей, воспитанных в разных системах, складывается отчетливое предпочтение к одному из них (и тенденция игнорировать остальные). Я часто наблюдал эту разницу, сравнивая манеру спорить всю ночь до хрипоты, пытаясь либо убедить противника в своей правоте, либо совместно отыскать единую истину. Здесь же и

споров нет настоящих. Обе стороны просто излагают свою точку зрения, уточняют ее, детализируют, но не спорят. Они могут постараться найти компромисс, но не одну-единственную истину.

Трудно сказать, в чем тут дело. То ли, отвергнув саму идеологию, мы бессознательно усвоили ее отношение к истине, то ли западный человек, выросши в плюралистическом обществе, привык к инструментальности истины и компромиссам. Разумеется, сказанное относится к некоему "усредненному" человеку в обоих мирах — исключений можно найти достаточно много на любой стороне.

Как бы то ни было, представить себе результат воздействия советской пропаганды в обоих случаях очень легко. Поставленный перед выбором между двумя различными точками зрения, советский человек будет "откапывать истину", западный — или примет обе, или выведет среднее. В честном споре беды большой нет. Однако, выбирая между информацией и дезинформацией, наш западный плюралист воспримет, как минимум, половину советского вранья. Не случайно великий мастер пропаганды Геббельс говорил: "Чтобы ложь стала правдоподобной, она должна быть чудовищной". Ведь при чудовищности ее размеров "серединка" сместится в самые недра лжи.

Однако, будь дело только в доверчивости, безразличии да советской агентуре, можно еще надеяться пробить эту стенку. К сожалению, дело гораздо серьезнее. Причины много глубже, в са-

мих основах западной политической жизни, в том, что "расстановка сил в мире изменилась в пользу социализма", как пишет "Правда". И это не просто пропагандистский штамп. В любой советской газете можно прочесть о "силах мира, прогресса и социализма", которые непременно победят. И еще о "силах реакции и империализма", которые обречены на провал. И уж тут попытка понимать все наоборот не помогает.

Нужно пожить на Западе, чтобы оценить по достоинству советскую прессу. В здешних газетах известий сколько угодно, правда же – вся разная. Пойди пойми, где у них "силы мира", а где "силы прогресса". И уж совсем невозможно найти "силы реакции". Тут-то самое время пойти в ближайший киоск и потребовать всю как есть "Правду".

Последние года два мы во Владимирской тюрьме взяли себе за правило выписывать практически все центральные газеты и журналы. Каждый обрабатывал по 5-7 наименований, а добытые таким способом сведения выносились на всеобщее обсуждение. Многое, конечно, оставалось неясным или спорным, однако, приехав на Запад, убедился я, что мои представления о нем поразительно аккуратны. Разумеется, я не знал массы элементарных вещей, но то, что знал, -- знал правильно.

Тогдашнее наше тюремное содружество делилось примерно поровну на две партии: оптимистов и пессимистов. Будучи от природы скептиком, я, естественно, принадлежал к последней. Тем более, что к концу всех наших споров,

обычно уже после отбоя, когда надзиратель неоднократно стучит ключом по двери да карцером грозится, "противная" сторона неизменно выдвигала свой решающий аргумент: "Не может того быть, чтобы они там, на Западе, не понимали, что делают! Значит, есть у них какие-то еще резоны, нам не известные. Ну не дураки же они там".

Оказавшись теперь на Западе, я внезапно обнаружил, что был потрясающим оптимистом. Мальчишками, в 60-е годы, мы, конечно, не читали советских газет, тем более -- не относились к ним серьезно. Мы верили, что воюем с КГБ и партийной властью. Все остальные -- на нашей стороне. Повзрослев, мы поняли, что воюем с "советским человеком", что гораздо труднее. Теперь же я вдруг обнаружил, что вот уже двадцать лет воюем мы практически с целым миром. Знать бы это вначале, я, быть может, еще и подумал...

Впрочем, двадцать лет назад это не было так ясно. Никто не ожидал нашего стремительного роста, а слабым почему не посочувствовать? Теперь же, когда наше движение породило международное движение в защиту прав человека в Восточной Европе с вытекающим отсюда давлением людей на свои правительства, когда в международной политике появился "фактор диссидентов", оказалось, что ни одна политическая сила в этом не заинтересована.

Для определенной части западного истеблишмента ("силы мира") мы со своим движением как кость в горле. Им бы договориться с совет-

скими полюбовно, уступить все, что требуют, -- ведь все равно отберут, так лучше отдать. Не сердить понапрасну "русского медведя".

Главное же -- продавать, продавать, продавать. Все, что можно: от кока-колы до человеческого достоинства. Они даже теорию выдумали, что всякое освободительное движение на востоке -- опасно. Может дестабилизировать равновесие в мире и привести к войне. Сытый коммунист лучше голодного, а торговля -- инструмент мира. Наше существование попросту мешает им сговориться. Идеологическая разница -- им вовсе не препятствие, да и осталась ли эта разница по существу?

Для другой части истеблишмента ("силы прогресса и социализма") мы не просто кость, мы нож в горле. Для них СССР -- "объективный" союзник, а всякая критика его крайне нежелательна, потому что косвенно ударяет и по их идеологии. Мы же со своими свидетельствами подрываем самые основы их благополучия. К тому же, в отличие, скажем, от наиболее заметной части чешской эмиграции, подавляющее большинство эмигрантов из СССР социализма не поддерживает и в возможность его комбинации с человеческим лицом не верит. Наш опыт глубже, жесточе, дольше. Если чехи могут проводить различие между социализмом, принесенным на штыках, и социализмом идиллическим, то мы лишены такого исторического оправдания. Как ни страно, это оказалось совершенным сюрпризом для "сил прогресса", долгое время принимавших нас за некую разновидность еврокоммунистов. По-ви-

димому, их ввела в заблуждение наша подчеркнуто правозащитная, ненасильственная позиция, воспринятая здесь многими как стремление к лучшему, более гуманному социализму. Наверное, именно поэтому вышеозначенные силы были вначале на нашей стороне и весьма способствовали росту кампании в нашу поддержку. Когда недоразумение рассеялось, это было воспринято многими как чуть ли не предательство с нашей стороны или обман. Во всяком случае, как огромное разочарование.

Все сказанное, конечно, относится к истеблишменту обоих политических оттенков. Искренняя, ищущая молодежь любых политических взглядов, равно как и люди от политики далекие, -- это единственная сила, нас поддерживающая. Сила, надо сказать, огромная, составляющая вкупе с неангажированной частью прессы то, что именуется "мировым общественным мнением". Противники наши даже не решаются открыто и честно спорить с нами по существу, ограничиваясь персональными нападками. Прием весьма типичный и для советской пропаганды, а потому не очень нас удививший. В логике это именуется методом "отравления колодцев". Вся разница лишь в том, что советский читатель, прочтя, скажем, в "Правде", что Солженицын -- поджигатель войны, а Сахаров -- агент мирового империализма, лишь ухмыльнется. Здесь же публика относится к своим газетам значительно более некритично. Раз пишут -- значит, что-то там такое есть!

Обычно я стараюсь избегать моралистических абстракций и рассуждений в терминах ”добра” и ”зла”. Однако, чтобы яснее и короче описать создавшуюся в мире ситуацию, приходится к ним прибегнуть. *Правда* всегда наивна и самоуверенна. Она убеждена, что восторжествует, как только покажется на люди. А потому она всегда плохо организована. Напротив, *кривда* -- цинична, хитра и сильна своей организованностью. У нее нет никаких иллюзий относительно своих собственных достоинств или шансов на честную победу, нет для нее и запрещенных приемов.

В сущности, попытки сначала не допустить возникновения ”фактора диссидентов” в мировой политике, а потом ниспровергнуть его имеют очень давнюю историю. Не стану сейчас подробно останавливаться на том периоде, когда беспрецедентный по своим масштабам и жестокости коммунистический террор просто замалчивался, а беженцы из этого рая объявлялись то ”капиталистами и помещиками”, то ”фашистами”, то ”агентами ЦРУ”. Поразительная вещь -- Европа не заметила гибели 66 миллионов человек в соседней стране! Как теперь выясняется, многие десятки книг и сотни газетных статей были написаны в тот период об этой трагедии. Написаны и ”не замечены”, потому что невидимая рука кривды позаботилась отравить источники информации.

Затем молчать стало невозможно -- само советское правительство призналось в этих преступлениях. И тут же новый ход -- дружные уверения ”специалистов”, что беззакония ликвидиро-

ваны Хрущевым, а в стране царит разгул либерализма (это в период новочеркасско-александровских расстрелов). Затем пошли заверения, что "диссиденты" -- крошечная горстка людей, никого не представляющая и никакого значения не имеющая. С тех пор чуть не каждый год объявляют о конце движения, и так добрых 15 лет.

Пробить в 60-е годы какую-нибудь информацию об арестах было необычайно трудно. Журналиста, высланного из Москвы, автоматически выгоняли с работы в его стране или переводили на плохое место. Он считался неумелым работником: не сумел "поладить" с советскими властями. Даже много позже, в 1970 году, моему другу, корреспонденту Ассошиэйтед Пресс в Москве Дженсену, его вашингтонское начальство запретило писать какие-либо статьи после нашего с ним интервью. А потом и вообще перевели во Вьетнам. Начиналась "эра детанта", и Всемирный конгресс психиатров в Мехико отказался обсуждать нашу документацию под прямым нажимом политиков. Впрочем, точнее было бы сказать, что эра детанта началась прямо с 1917 года.

Понадобились многолетние усилия честных людей на Западе и на Востоке, чтобы наш голос, наконец, услышали.

Позднее -- принудительная эмиграция сотен правозащитников -- и сразу же масса статей об их неспособности устроиться и жить в свободном мире. Дескать, что там за них в СССР переживать: несвобода -- их естественное состояние.

Или вот еще аргумент -- гениальный по своей изощренности. Поскольку вы пострадали от ре-

жима, -- говорят нам, -- вы не можете быть объективными и беспристрастными. Лихо, а? Тогда, выходит, узника Освенцима тоже не надо слушать -- он ведь пострадал. Зачем же слушать рассказы евреев о нацистской Германии -- у них же родные погибли в газовых камерах, разве могут они быть объективны? Так кого слушать? Перебежчики -- клевещут, пострадавшие не объективны, запуганное большинство молчит. Остаются только советские (или нацистские) власти, чтобы поведать нам беспристрастную правду.

Больше всех, конечно, достается Солженицыну. То, оказывается, он себе в Вермонте ГУЛаг устроил, огородился колючей проволокой. То все к тому же Пиночету в гости собирается. То вдруг оказывается создателем "новой правой" партии национал-большевиков. Всего и не перечислишь. Я как-то посчитал, что только за три месяца в конце 1979 года мировая пресса опубликовала 16 статей против него. Такой кампании он и в Советском Союзе не удостаивался. При том это все пресса некоммунистическая!

Главный же аргумент -- реакционеры мы все. Тут я, наконец, узнал, что такое "реакционные силы", которых раньше никак не мог обнаружить на Западе и уж стал склоняться к мнению, что их вообще нет.

В Норвегии не какой-нибудь коммунистический листок -- крупнейшая газета страны поместила по моем приезде большую статью и две фотографии. Под фотографией Солженицына подпись -- Буковский. Под моей -- Солженицын.

А в тексте: "на службе реакционных сил...", "пособники крупного капитала..." и т.п. Точно как в "Правде".

В Англии газета "Гардиан" напечатала статью корреспондента АПН Добкина. Как водится, весь джентльменский набор: и террорист, и агент империализма! Поначалу я обрадовался. Ага, думаю, попался товарищ Добкин! Это тебе, дорогой, не в Москве. Тут и суд праведный, и ответственность за клевету в печати. Сейчас я выясню, откуда вы эти "штурмовые пятерки" взяли. От "Гардиан" нужно мне было лишь формальное извинение, чтобы потом вплотную заняться Добкиным. Два года тянулось судебное препирательство. За это время Добкин перешел в штат посольства и прикрылся дипломатическим иммунитетом. Между тем из Америки сразу же мне идут газетные вырезки. Оказывается, я, проклятый реакционер, засудил в Англии "рабочую" газету. Ну, чем не "Известия"?

Причем заметьте, что звание реакционера выдают тебе сразу, без задержки, как только ты сказал, что а) не веришь в социализм и б) не являешься сторонником "разрядки". Уже через три недели после моего приезда в Цюрих местная газета "Тагес-Анцайгер" утверждала, что я поразительно быстро "переменился"' -- из "политического агностика" во "второго Солженицына". Газета уверяла, что перемена произошла под влиянием "реакционного окружения", которое с самого начала не допускало ко мне "нежелательные органы прессы". И все это из-за моей критики по адресу "детантистов". Между тем,

человек, писавший статью, сидел рядом со мной на первой же пресс-конференции в Цюрихе и не мог не слышать, что я говорил, например, о резком ухудшении режима в тюрьмах и лагерях после подписания Хельсинкского соглашения. В той же статье утверждалось, что реакционные силы "были готовы завербовать и Плюща, но он скрылся в Париже...". Плющ в то время считал себя марксистом, а стало быть, пока ходил у них в "хороших".

Смешно сейчас вспоминать, как нас всех тогда пытались поссорить, приспособить для своих нужд, делили на "плохих" диссидентов и "хороших", в особенности же норовили распределить на "левых" и "правых".

Когда-то русский физиолог Павлов поставил следующий эксперимент: приучил собаку ожидать электрического удара при виде прямоугольника и пищу – при виде круга. Затем собаке внезапно показали что-то "среднее": овал – и собака получила нервное расстройство. Нечто подобное произошло при столкновении западного мира с советскими правозащитниками. Приученные думать только в терминах "левого-правого", разделенные потрясающей идеологической нетерпимостью, эти узники западного духовного ГУЛага никак не могли постигнуть, что перед ними нечто принципиально новое. С удивлением обнаружили мы, что для них важнее, с кем оказаться за одним столом, выступать с одной трибуны или поставить подпись, чем существо сказанного или содержание петиции.

Все это было для нас абсолютно дико. Как на полюсе магнитная стрелка не поможет вам ориентироваться, так и в СССР бесполезны традиционные политические определения. Никто не может быть более левым или более правым, чем Брежнев. Да и на Западе эти деления давно потеряли смысл. Скажем, что общего между либералами Германии и Японии, социалистами Италии и Англии? Где "правые", где "левые", если итальянские коммунисты консервативней английских лейбористов? Если американские профсоюзы объявлены более "реакционными", чем мультимиллионеры Кеннеди и Рокфеллер? Все это очевидный бред, однако бред весьма удобный для организации интеллектуального террора. Крайняя идеологизация приводит к тому, что мыслить начинают ярлыками, значение слов произвольно трансформируется, а любой самый крикливый демагог всегда оказывается самым "прогрессивным". В политических гонках современного мира всегда есть место обогнать противника "слева", достаточно лишь первому заклеймить его как "реакционера" -- и он уже в изоляции. А поскольку любой идеологии всегда нужны свои "дьяволы", начинается "демонизация" противника. Постепенно вокруг него создается "атмосфера убийства", и, глядишь, вскоре на сцену является террорист. И так этот сошедший с рельсов поезд неумолимо скатывается в пропасть, стягивая один вагон за другим. Где теперь социал-демократы? Уже в "реакционерах". А "либералы"? Уже под огнем террористов -- как "враги народа".

И после этого нас здесь спрашивают, как мог возникнуть ”великий террор” Сталина, почему советский коммунизм человеческое лицо потерял? Да у них у самих все готово.

Поразительно, не правда ли? Мы приехали из глухой страны, где нет никакой политической жизни, приехали с чувством провинциалов, случайно попавших в столицу, и вдруг оказались политически старше на много десятилетий. И хотя среди нас есть люди разных политических предпочтений, никому уже не удастся разделить нас по ”лагерям”. От этой опасной дихотомии нас весьма успешно вылечили сульфазином и ”укрутками”. Мы знаем только один политический лагерь -- концентрационный, где всем положена одинаковая баланда. Ни справа, ни слева там нет ничего, кроме ”запретной зоны”, где конвой стреляет без предупреждения. Там мы научились видеть только одну борьбу в этом мире -- человеческого с бесчеловечным, живого с мертвечиной. За ее исход мы все несем ответственность.

Наивно, однако, предполагать, что ”силы мира и прогресса” примирились со своей неудачей. Не удалось расколоть -- стали ”создавать” диссидентов, конечно же таких, чье мнение выгодно противопоставить мнению подлинных правозащитников. Дело не трудное. За последние десять лет из СССР эмигрировало примерно двести пятьдесят тысяч человек, а в Москве и подавно восемь миллионов населения. Нужно остановить Картера в его кампании за права человека -- срочно находят кого-то, кто заявляет коррес-

понденту, что позиция Картера вредна. И это сразу в печать, крупными буквами, на первую полосу. А заявление политзаключенных в поддержку Картера -- где-то в конце, несколько строчек резюме мелким шрифтом, да и то далеко не во всякой газете. Пишет Сахаров обращение к Белградской конференции -- на той же странице "Нью-Йорк Таймс", прямо следом, статья "тоже диссидентов" о том, что Сахаров -- наивный чудак, изолированный от народа, генерал без армии.

Пожалуй, самой большой находкой были братаны Медведевы. Хоть сами они себя никогда к "диссидентам" не причисляли, а все больше к советникам "голубей в Политбюро", здесь они числятся в лидерах "левого крыла диссидентов". Я, переезжая из страны в страну, только диву давался, до чего же эти братаны плодовиты -- чуть не в каждой газете успевают печататься. Это не считая книг и лекций. Выдвинули Сахарова на Нобелевскую премию -- Жорес Александрович уже в Норвегии, убеждает общественность, что нельзя дать премию мира создателю водородной бомбы. Разворачивается кампания в защиту арестованных хельсинкцев -- Жорес Александрович в парижской газете объясняет, как вреден шум на Западе для людей "там". Приговорили Гинзбурга к восьми годам особого режима -- Рой Александрович спешит с заявлением о том, какой плохой человек Гинзбург. Надвигается осуждение советской психиатрии в Гонолулу -- Жорес Александрович тут как тут, заявляет в Америке, что, кроме него ну и, пожа-

луй, Плюща, никого в психушку по политическим мотивам не сажали. Словом, работоспособность необыкновенная. Всего два человека, а шуму на весь мир.

Да это же находка. Пусть-ка "диссиденты" удушат себя своими руками. Солженицын -- "писатель-диссидент", и всю жизнь промолчавший или простучавший "Х" -- "писатель-диссидент". Вроде как угроза Сталина Крупской подыскать "другую вдову Ленина". Главное же, создается впечатление, что "диссиденты" сами не знают, чего хотят. Только вечно ссорятся.

И все это не просто разрозненные эпизоды, а прекрасно сдирижированный международный оркестр, располагающий мощными средствами. Я вовсе не утверждаю, что дирижеры сидят в Кремле, но игра-то идет как по нотам. Как ни трудно нам было в СССР, какая ни громоздилась перед нами железобетонная стена, а и ее можно пробить лбом при известном упрямстве. Здесь же стенка ватная, и обволакивает она тебя со всех сторон.

* * *

Впрочем, меня лично все это коснулось далеко не сразу. Первые три-четыре месяца демократическая богиня *паблисити* настолько разбушевалась, что даже ватная стенка расступилась на время, а трехглавое чудище "сил мира, прогресса и социализма" затаилась, пережидая стихию. Только пара коммунистических газетенок поплоше, в странах, где компартии совсем крошечные, а стало быть, полностью на советской до-

тации, пытались что-то тявкать. Какая-нибудь "Унзере Цайт" в Германии или "Де ваархайт" в Голландии, о которых местные жители и не слыхали. На них-то советским и приходилось ссылаться -- к крайней своей досаде.

После первого залпа мне вслед советские газеты молчали примерно месяц, надеясь, что все утихнет. Однако, к Пиночету я не поехал, да и "мыльный пузырь" не лопнул, как они предсказывали. Идеологическое руководство скомандовало "дать отпор" проискам.

Только привычный советский читатель может оценить, до какой степени власти были растеряны и напуганы развитием событий. Практически весь февраль, март и апрель почти каждый день они были вынуждены печатать что-то против меня. "Труд" -- "Родство душ"; "Правда" -- " 'Унзере Цайт' о врагах мира"; "Известия" -- "Марионетка в руках реакции"; "Известия" -- "Кому мил этот отщепенец"; "Советская Россия" -- "Ставка на антикоммунизм"; "Правда" -- "На службе у НАТО"; "Известия" -- "Разоблачение провокационной шумихи"; "Комсомольская правда" -- "Считаем его предателем"... Одно только количество публикаций красноречиво говорит о панике. Содержание же порой просто невероятно. Еще месяц назад они уверяли читателей, что я слабоумный маньяк, чуть ли не фашист, от которого все отшатнутся после первой же встречи. Теперь вдруг им приходится признавать, что "печать, радио и телевидение Запада продолжают раздувать шумиху вокруг этого отщепенца". "Среди этого хора провокаторов ока-

залось много лидеров оппозиционного блока ХДС-ХСС". "Кто же в ФРГ оказался в кругу его друзей? Это -- председатель ХДС Коль...". "Антисоветские высказывания Буковского, к сожалению, нашли свое отражение и в передачах западногерманских радиостанций и телевизионных центров".

В сообщениях из Англии (тоже с опозданием на месяц) уже ругали не столько меня, сколько политику консерваторов. Причем получалось, будто или я эту политику выдумал, или она была выдумана специально для меня.

> "Госпожа Тэтчер, – *писал в "Известиях" какой-то ехидный журналист, без сомнения тайный антисоветчик, из числа тех, что держат кукиш в кармане,* – которая не упустит случая, чтобы заявить о своем антисоветизме, встретила новоявленного "борца за свободу" с распростертыми объятиями, настолько горячими, что это привело к дискуссии в Вестминстере. На заседании английского парламента Тэтчер настаивала на том, чтобы правительство проявило "больше внимания к личности Буковского и к информации, которой он располагает о жизни в Советском Союзе".
>
> "Взгляды правительства на положение в СССР хорошо известны, и премьер-министр не намерен *искать популярности* путем встречи с русским диссидентом, поскольку в этом нет необходимости", – заявил мистер Каллагэн".

Что это -- сон? "Горячие объятия", оппозиции, острые дебаты в парламенте, премьер-министр, который мог бы получить больше популярности от встречи со мной, но гордо воздерживается от такого легкого пути... А где же по-

луграмотный недоумок, уголовник, маньяк, террорист? То-то радовался советский читатель.

И, наконец, вершина, перл советской журналистики, кульминация паники:

Прием в Белом доме

> Вашингтон, 2 марта, ТАСС. Вчера президент США Дж. Картер принял выдворенного из пределов Советского Союза Буковского – уголовного преступника, который также известен как активный противник развития советско-американских отношений.
>
> Этой встрече предшествовала беседа с Буковским вице-президента США У. Мондейла.

Это все, что появилось в тот день в "Правде". Не какая-то там привычная "провокационная вылазка", "антисоветская акция" и т.п. Нет, "Прием в Белом доме", словно речь пойдет об очередном приеме советского посла или министра иностранных дел. Уголовник – и одновременно противник отношений. И никаких комментариев – словно сигнал СОС, коротко и отчаянно. Тут уж пришли в волнение все "силы мира и прогресса".

До сих пор встречался я только с лидерами оппозиций – правительства же, будь то лейбористы в Англии, либералы и социалисты в Германии, жискаровцы и голлисты во Франции, от таких встреч уклонялись, не желая сердить советских друзей. Оттого по западным меркам получался я слишком консервативным в Англии и Германии и "слишком левым" во Франции. (Во Франции, правда, и оппозиция отнеслась ко

мне осторожно, так что встретили меня там вообще недавние "леваки", увлекшиеся правами человека, вроде Армана Гатти, -- оставалось и меня зачислить в "крайне левые".) Брандт оказался слишком занятым, Каллагэн -- слишком осведомленным о советской жизни да, к тому же еще, и слишком скромным. Одно лишь голландское правительство в то время не боялось нас открыто поддерживать.

Позиция Картера прорывала эту молчаливую блокаду, ставя европейских коллег в смешное положение, а его обещание сделать права человека основой своей политики звучало для них похоронным маршем. По крайней мере, вначале выглядело это так, будто впервые, может, за всю историю противостояния демократии тоталитаризму нашелся лидер, готовый открыто отстаивать ценности нашей цивилизации. Это был бы смертельный удар по всей полувековой политике капитулянтства и тайных сговоров, по всем трем "силам" сразу.

Разумеется, СОС было услышано немедленно. На следующий день "даже такая недружественная газета как "Нью-Йорк Таймс" писала:

> "Уместно спросить, имеет ли наша страна право указывать другим, как себя вести, и не может ли подобного рода менторство невольно содействовать тому, что заставит других проявлять большую осторожность и не связываться с Соединенными Штатами".

И далее, подчеркивая тенденциозность нового курса, газета почему-то перешла на события в

Никарагуа. Совсем по-советски, за что и удостоилась обширных цитат в "Правде".

Не отставали и другие, не менее "буржуазные" да "недружественные", пугая американского президента "возможными отрицательными последствиями". Переполох был такой, как будто Картер объявил тотальную мобилизацию и ядерную тревогу. Соответственно, чем больше выплескивалось наружу этого добросовестного буржуазного страха и "прогрессивного" лицемерия, тем спокойней становился тон советской прессы. И, хотя еще много месяцев продолжали они поминать нас с Картером недобрым словом, утверждая, что это было "вмешательством во внутренние дела СССР", "выходкой" и проч., для советского читателя становилось ясно, что опять "пронесло" советских -- отделались легким испугом.

Почему Брежнев не стесняется лобызать Корвалана перед телекамерами всего мира, и никто, даже ни один чилийский официоз, не считает это "вмешательством во внутренние дела", а наша скромная встреча с Картером оказывается "угрозой миру и прогрессу"? Почему американский президент не свободен принять людей, сопротивляющихся сугубо ненасильственными методами режиму тотального угнетения, отстаивающих те самые принципы демократии, которые записаны в американской Конституции и в международных соглашениях, а советские миротворцы вполне способны посылать оружие, деньги, а то и армии для поддержки своих головорезов во всем мире? Причем здесь Никарагуа, где правые дик-

татуры сменяют левые по десять раз в год? Зачем нужно "Нью-Йорк Таймс" прикидываться невинной девочкой, не понимающей разницы между тривиальной диктатурой в маленькой, никому не угрожающей стране и тоталитарным режимом, захватившим полмира, навязывающим всем остальным свою систему как образец справедливости и вот уже более полвека ведущим тайную или явную войну против всего человечества?

Этих "почему" можно написать много тысяч, но ответа никогда не получишь. "Силы мира, прогресса и социализма" не удостаивают нас диалога, точно так же, как и советские власти. Все, что можно получить в ответ, -- это какую-нибудь ложь, клевету, ну и ярлык "реакционера".

Боюсь, сам Картер не понял, что произошло. Последовавшее затем давление со стороны Франции и Германии вкупе с вышеозначенными силами внутри США очень быстро заставили его замолчать о правах человека. Да вряд ли он полностью осознавал тогда потенциальные возможности, само значение новой линии. Тем более -- символическое значение нашей встречи. Ведь она и произошла-то случайно.

* * *

Майк Уоллис был не просто тележурналистом -- он был артистом. Небрежно откинувшись на спинку кресла, он спрашивал:

-- Скажите, ну вот вы были два раза в психиатрической больнице, потом в лагерях, в тюрь-

мах и все время продолжали делать то же самое. Может быть, вы и вправду сумасшедший?

И миллионы телезрителей готовы были растерзать его за такое предположение: "Да как он смеет?!"

Блестяще разыгрывая роль "адвоката дьявола", он задавал такие вопросы, которые подсознательно тревожат многих, да только люди обычно гонят их от себя. К концу интервью он позволил полностью "переубедить" себя и вдруг неожиданно спросил:

-- Может быть, вы хотели бы встретиться с нашим президентом и рассказать ему все, что вы мне сейчас рассказываете? – (Речь шла о разрядке и ее последствиях.)

Программа эта -- "60 минут" -- одна из самых популярных в Америке, особенно среди молодежи. Считалось, что ее смотрит более сорока миллионов человек. Рассказывают, что после нашего интервью Белый дом буквально завалили письмами, и на ближайшей же пресс-конференции Картер заявил, что готов принять меня.

Думаю, два обстоятельства сыграли особенно важную роль в этом решении. Анализируя причины поражения Форда в избирательной кампании, американские газеты единодушно ставили на первое место его отказ принять Солженицына. Картер же не только сделал идею прав человека центральной в своей кампании, что особенно совпадало с настроением американцев после Уотергейта и вьетнамской войны, но был еще очень чувствителен к общественному мнению. Создавалось впечатление, что идея демократического

правления сводилась у него к слепому следованию результатам того или иного опроса. Впоследствии это качество сильно ему навредило. Думаю, то, что хорошо в предвыборной кампании, совершенно не годится для управления страной. Даже самый идеальный президент не может принимать только популярные решения, не может быть "хорошим" для всех. Он, конечно, должен руководствоваться принципами, за которые проголосовали избиратели, но не их сиюминутными желаниями. Опросы общественного мнения – штука весьма обманчивая. Пока решение не принято – результаты одни; как только оно принято – другие. Те, кто им не доволен, становятся особенно активны и многочисленны. Так и получалось, что Картер меняет свои решения по нескольку раз на день. А это хуже любого из возможных решений. Словом, до конца своего срока Картер как будто так и не привык к мысли, что он президент, а все еще по инерции продолжал свою избирательную кампанию.

Другое обстоятельство заключалось в том, что я был приглашен в страну американскими профсоюзами АФТ-КПП – одной из наиболее мощных организаций, много лет поддерживающих наше движение. Традиционно профсоюзы – как бы часть демократической партии, голосуют обычно за демократов и во многом способствовали победе Картера.

Тем не менее, ситуация оставалась крайне напряженной, и до самого последнего момента я не был уверен, что встреча состоится. Можно только догадываться, какое давление оказыва-

лось на президента за кулисами с целью сорвать прием. В день, назначенный для аудиенции, вдруг приехал Трюдо, и дату перенесли на несколько дней. Было ли это просто совпадением или отражало колебания в Белом доме -- я не знаю, но, уезжая в Майами к Джорджу Мини на профсоюзную конференцию, я сильно сомневался, что когда-нибудь увижу президента.

Наконец, неопределенность кончилась, и 1 марта машина Госдепартамента доставила меня в Белый дом. И, хоть ждал я этого момента уже несколько недель, происходящее казалось мне странным, почти нереальным, чем-то даже комичным.

Ожидая прихода хозяев, мы вдвоем с переводчиком сосредоточенно разглядывали стены, картины и потолки "комнаты Рузвельта". Переводчик был явно раздосадован таким "понижением в должности", без конца повторял, что его обязанность -- переводить только "на высшем уровне", на встречах президентов, королей и глав государств, однако забастовку объявить не решался. Я выражал ему всяческое сочувствие. Вошел Мондейл, мы поздоровались и сели за стол, он -- справа от меня, на стуле, мы с переводчиком -- на диване. Не успели мы обменяться парой фраз, как раздался глухой, быстро нарастающий топот, словно стадо слонов по недосмотру охраны вломилось в Белый дом. Двери стремительно распахнулись, и в комнату ворвалась пресса. Вспышки фотоаппаратов, слепящий свет ламп, десятки телекамер -- все это обрушилось на нас как ураган. Мондейл явно нервничал. Ле-

вой половиной рта, обращенной ко мне, он тихо сказал:

-- У нас, знаете ли, свободная пресса. Это, знаете, у нас огромная сила.

Я лихорадочно пытался придумать что-нибудь столь же глубокомысленное в ответ, лишь бы не сидеть молча под прицелом всех этих камер. Затем, столь же внезапно, пресса удалилась, отступила к дверям, отстреливаясь на ходу и скрылась. Стало удивительно тихо. С минуту мы сидели молча, приходя в себя, с глупыми фотографическими улыбками. В глазах все еще стояли вспышки, и мы едва различали друг друга.

Разговор длился довольно долго. В основном, говорил я, а вице-президент записывал что-то, изредка прерывая меня вопросами. Мне хотелось объяснить основные особенности советской психологии, непонимание которых обычно приводит к ошибкам и поражениям. Особенно старался я объяснить порочность концепции разрядки, как она тогда понималась обеими сторонами. Нас, всю жизнь проживших в стране, где враждебность к окружающему миру возведена в ранг государственной философии, где каждый школьник знает, что война против "капиталистических" стран (холодная или горячая) никогда ни на минуту не прекращается, -- больше всего поражает безмятежная успокоенность Запада, граничащая с легкомыслием. Как бы хорошо мы ни были осведомлены о западной жизни, такого мы себе даже представить не могли. Когда это отношение видишь у простых людей -- удивляешься, когда у ведущих политиков Запада -- становится страшно.

-- Попробуй понять, что они за люди, -- советовали друзья перед этой встречей. -- Знаешь, так, по-лагерному прикинь, на каком допросе они раскололись бы.

Боюсь, мое специфическое знание людей оказалось в этом случае мало полезно. Допросы им не предстоят, да личность и вообще мало что значит в современной политике. С обеих сторон работают гигантские машины. Позже я имел возможность познакомиться с помощниками, советниками, разными сенаторами, конгрессменами и их штабами -- то есть с "аппаратом". Вывод мой оказался мало утешительным. Вероятно, эти люди получили лучшее образование, чем их советские двойники, они, безусловно, во много раз человечней, но у них явно нет советского опыта жестокой беспринципной борьбы за существование.

Любой чиновник соответствующего уровня, прежде чем добраться до такого поста, должен утопить не один десяток конкурентов, шагать по головам, а то и по трупам, познать все законы подлости, низости. Мы часто удивляемся, как это наши полуграмотные, некультурные вожди, которые зачастую и по-русски-то не могут правильно говорить, ухитряются управлять огромной империей, да еще весь мир в страхе держат. Однако, никакой загадки здесь нет, и вовсе не нужно искать "закулисных" правителей. На самом деле ни ума, ни культуры им не нужно. Более того, эти качества только мешали бы. Психологически они относятся к чисто уголовным типам, где хитрость и жизненный опыт -- основа ус-

пеха. Какому-нибудь "пахану" вовсе не нужно знать Толстого или Шекспира, чтобы держать в кулаке весь лагерь. А вся полувековая история отношений между демократическими странами и СССР поразительно точно повторяет картину взаимоотношений "блатных" и "фраеров", которых первые систематически грабят и терроризируют на любой пересылке. Аналогия настолько точная, что порой диву даешься. Та же вера в возможность откупиться, задобрить. То же стремление показать свои дружеские намерения, неагрессивность (вплоть до одностороннего разоружения). Главное же -- поразительно наивная теория, что если сидеть тихо, не "провоцировать" бандита, старательно отводить глаза в сторону, когда бьют не тебя, то все обойдется благополучно. Все это мы видели сотни раз, и как никто другой понимаем обреченность такого поведения.

Западный мир поступил бы гораздо разумнее, назначив вести дела с советскими не дипломатов с гарвардскими дипломами, а старого опытного шерифа из Чикаго, знающего психологию уголовного мира. Но как объяснить все это американскому президенту за пятнадцать минут?

Картер присоединился к нам в конце разговора. Я ни о чем не просил специально, старался только объяснять, что кампания за права человека должна быть упорной и последовательной, если мы хотим добиться успеха. Такова особенность советской системы, советской психологии. Нельзя ждать быстрых результатов, а не дождавшись -- поскорее менять линию. Конечно же, сейчас советские постараются доказать всеми спо-

собами свою нечувствительность к открытому давлению. Более того, могут даже временно усилить репрессии, чтобы вызвать критику такого рода действий. А здесь найдется достаточно людей подхватить этот мотив. Всему этому не надо верить. Если нынешняя линия продержится несколько лет, советские начнут отступать.

Не знаю, насколько внятно изложил я ситуацию, но Картер заверил меня, что отсутпать не собирается и намерен последовательно продолжать начатое. Проблема прав человека -- не просто временная кампания, но одна из основ его будущей внешней политики, причем не только в отношении СССР, а и других стран мира тоже. В общем, впечатление он производил человека искреннего, теплого, и расстались мы на оптимистической ноте. Разумеется, я поблагодарил за прием, которым он оказал честь и поддержку всему нашему движению.

Они вышли, а я гадал, мог ли как-нибудь лучше использовать отведенные мне случаем пятнадцать минут. Вряд ли. На то, что надо было бы сказать, не хватило бы и суток. Но и это было бы бесполезно. На таком уровне люди не убеждают друг друга, не читают друг другу лекций. Они лишь *обмениваются взглядами,* излагают свои позиции, вставляя заранее заготовленные для пресс-релиза замечания. Чего же особенного можно достичь в этом политическом пинг-понге?

-- Будете участвовать в пресс-конференции? -- спросил пресс-секретарь. Но переводчик запротестовал так неистово -- ни королей, ни президен-

тов уже не оставалось, -- а мой английский был еще настолько нетверд, что я отказался. Да и какой смысл? На пресс-конференции тоже ведь много не объяснишь.

Лужайка Белого дома была битком забита репортерами, когда с помощью охраны мы пробрались к машине. Они поднимали над головами фото- и телекамеры, протягивали микрофоны, свои черные резиновые дубинки, что-то кричали... Я же вдруг впервые ощутил свою полную немоту, точно хрупкая елочная игрушка, аккуратно завернутая в вату.

* * *

Впоследствии, конечно, много было разговоров, что Картер, мол, постарался "спустить на тормозах" напряженность момента, приглушить эффект этой встречи, не допустив прессу нас сфотографировать и не устроив совместную пресс-конференцию. Не думаю, чтобы в этом был какой-то расчет -- скорее неорганизованность, непродуманность. Для советских ведь все равно -- фотографировали нас или нет: важен сам факт встречи, означающий с их точки зрения "недружественный акт", вызов, откровенную поддержку их внутренних врагов. А пойдя на такой шаг, какой смысл делать его наполовину, навлекая неудовольствие и критику прессы? К тому же, штатный фотограф Белого дома снимал нас на протяжении всей встречи.

Гораздо важнее другое -- понимал ли Картер реальный смысл той самой политики прав че-

ловека, которую он таким образом объявлял основой своего нового курса?

Наш век, быть может, самый кровавый в человеческой истории, принес с собой проблему, на которую не нашлось пока адекватного ответа, хотя найти его жизненно важно для сохранения цивилизации. Появление тоталитарных режимов, тоталитаристских идеологий -- смертельная угроза демократическим странам, причем угроза неуклонно растущая, поскольку скоростные средства транспорта, массовые коммуникации и современная военная техника сделали наш мир как бы меньше, теснее. Все мы теперь соседи. Вопрос же: как демократии оборонять себя, не отказываясь от своих традиционных принципов, то есть не превращаясь медленно в своего противника?

Логика такого превращения весьма проста: если есть "мировой бандит", то нужен "мировой жандарм", чтобы с ним справиться, причем такой, который способен отвечать на подлость подлостью, не гнушаясь никакими запрещенными приемами. Иначе он будет неэффективен. И через некоторое время постороннему наблюдателю уже не различить, кто бандит, а кто жандарм. То есть демократии не победить тоталитаризма равными средствами, не превратившись в его подобие.

С другой стороны, любые попытки "договориться" с бандитом ведут лишь к его усилению и все большей от него зависимости.

Так наш мир оказался зажатым между двумя крайностями, между двумя вариантами проиг-

рыша. Как и следовало ожидать, попеременно прибегая то к одной, то к другой, он все глубже тонет в болоте безнадежности.

Разумеется, каждый раз очередной поворот подается политиками как нечто принципиально новое и не имеющее альтернативы. Теперь нас пугают "холодной войной", если мы не откажемся от "разрядки", а в 40-50-е годы пугали наоборот. На самом деле советские выигрывают в обоих случаях. В периоды "холода", хотя советские и не приобретают ничего нового, зато подготовляется почва для их будущих успехов, так как на Западе определенные ограничения, милитаризация общества, постоянная угроза войны и неизбежная поддержка, оказываемая "стабильным" диктаторским режимам, антагонизируют население. Растут оппозиционные настроения, просоветские иллюзии, и создается благоприятный климат для советской подрывной активности. Общественное давление нарастает, и нужно отказаться либо от демократии, либо от холодной войны. В период "оттепели" советские поправляют свою разваливающуюся экономику за счет западных кредитов и товаров, закрепляют свое влияние в нестабильных районах, пользуясь накопившимся у населения недовольством и производят новые захваты, которые опять приводят к "похолоданию". Так эта карусель идет уже полвека, причем колебания температуры происходят только на Западе, у советских же всегда "холодно"!

Есть, пожалуй, только две переменные величины в этой грустной формуле. Во-первых, со-

ветские захваты необратимы (пока что), и оттого советская сфера влияния неизменно расширяется. Тому же способствуют страх и капитулянтские настроения в еще не захваченных странах Западной Европы — бывает, язык не поворачивается всерьез назвать их свободными. Во-вторых, медленно, но неуклонно подгнивает советская система. Несмотря на все усилия Запада, все труднее спасать от полного краха советскую экономику. Столь же медленно нарастают движения сопротивления внутри советского блока, которые рано или поздно его разрушат, если их поддерживать и поощрять. Движения эти внезапно открыли очень важное обстоятельство — внутреннее одряхление советского режима, его негибкость, неумение обороняться в идеологической борьбе.

Словом, со всех точек зрения "политика прав человека" оказывалась просто находкой, если не единственным выходом из пагубной дилеммы. Она позволяла перейти к "моральной" конфронтации, не ведущей к отрицательным последствиям "холодной войны" (права человека должны ведь соблюдаться везде, а не только в СССР), поддерживала движения сопротивления, бросала идеологический вызов дряхлеющему коммунистическому режиму, ставила под удар просоветские силы на самом Западе и позволяла перестроить всю западную стратегическую линию, переориентировать ее с диктаторских режимов на демократические. При всем при том новая линия вовсе не исключала укрепления своей обороны — право на самооборону тоже ведь вполне человеческое.

Самое важное преимущество, конечно, состояло в том, что Запад, наконец, приобретал нечто вроде идеологии, способной противостоять коммунизму. В Соединенных Штатах она позволяла объединить страну после глубокого кризиса и даже вернуть ей ведущее место в мире.

Разумеется, все это нужно было детально продумать, разработать конкретно в применении к каждому случаю, к каждой стране. Прямо так, в один день перейти к абсолютно новой линии невозможно. Это лишь дестабилизирует уже существующую, не создав новой. И, конечно, для такой радикальной перестройки требовалось большое искусство.

Я нисколько не сомневаюсь в искренности намерений Картера. Однако, кроме искренности, у него, кажется, ничего больше не было. Даже толкового окружения. Не поняв своей задачи, он, видимо, решил сделать из Белого дома филиал Эмнести Интернейшнл. Оказавшись под давлением со всех сторон и не имея своей детально продуманной схемы, он в результате опустил все ценное, что давала новая концепция. Поэтому три года спустя, когда эра "разрядки" закончилась оккупацией Афганистана, ни Америка, ни Европа не были к этому готовы. Старое оказалось подорвано, новое не создано.

Впрочем, быть может, не стоит винить во всем одного Картера. Положение американского президента больше чем незавидное. Врагу бы своему не пожелал оказаться на этом месте. Здесь, на Западе, вообще принято все требовать от властей -- даже то, что каждый легко может сделать

сам, не вставая со стула. А уж в Америке и подавно: выборные люди на то и существуют, чтобы их изводить, давить на них, осаждать и обвинять во всех смертных грехах. Первые четыре года уходят обычно на подготовку перевыборов, а за оставшиеся четыре года что можно успеть сделать, когда линия уже сформировалась за первые? Инерция большой страны пропорциональна ее размерам, а гигантский бюрократический аппарат, этот Франкенштейн нашего времени, все равно сделает так, как захочет. Президенты и премьер-министры давно уже не управляют миром. Им правит истеблишмент и создаваемые им мифы. В данном случае – "силы мира, прогресса и социализма". Картер же как человек вызывает у меня лишь симпатию и сочувствие. Думаю, он хорошо знает то чувство немоты, которым я вышел из Белого дома.

Так или иначе, но наше сотрудничество, начавшееся столь бурно, продолжения не имело. Нарасно потратил я два часа, пытаясь убедить Эндю Янга обсудить в ООН проблему геноцида малых народностей в СССР, предлагая ему материлы о крымских татарах или проблему других олоний советской империи. Тот лишь зевал от куки. Напрасными оказались и другие наши росьбы, рекомендации, советы. Лишь под коец, в 1980 году, опять сошлись наши линии, огда легко предсказуемый кризис заставил Картера осуществить почти все наши предложения рехлетней давности: и сокращение торговли, эмбарго на ряд товаров, и частичный научный ойкот, и бойкот Олимпийских игр в Москве. олько было уже слишком поздно.

* * *

Наша встреча, однако, имела еще одно вполне неожиданное последствие. Благодаря ей я вдруг узнал главную причину своего загадочного обмена, объяснившую странности поведения советской стороны. История эта, рассказанная одному моему знакомому одним из ближайших помощников Брежнева, вполне достоверна как своим источником, так и типичной советской бредовостью. Словом, услышав ее, я понял, что другого объяснения и быть не могло.

Недели через две после "приема в Белом доме" Брежнев выразил беспокойство по поводу нового американского курса и затребовал отчет о моей зарубежной активности по материалам западной прессы. Прочтя доклад, он сурово оглядел своих помощников, стоящих вокруг:

– Товарищи, что ж это вы наделали? Вы же меня уверяли, что он *того,* – тут он выразительно покрутил пальцем у виска, – а он совсем не *того,* выступает там всюду, говорить умеет... Что же вы мне *деятелей* выпускате?

Вот так номер! Выходит, они в Кремле действительно верили, что я параноик. Так вот почему решили меня выставить с максимальным "паблисити"! Легко себе представить, какой эффект произвело бы такое появление на всех, кто симпатизировал нам и поддерживал наше движение.

Поразительная история, не правда ли? Даже всесильные советские вожди могут оказаться жертвой собственной дезинформации, даже им нужна бы свобода слова и независимая пресса,

чтобы не натворить глупейших ошибок. В системе партийной бюрократии "обратная связь" превращается в порочный круг. Сначала, в 60-х годах, они приказали признавать нас невменяемыми, а когда им соответственно доложили о нас как о сумасшедших -- они поверили!

Вот что, оказывается, решило мою судьбу.

Словом, полезно русскому путешественнику получать известия с далекой родины. Очень отрезвляют...

ГЛАВА О СВОБОДЕ

If none was to have Liberty but those who understand what it is there would not be many free men in the world.

Lord Halifax

Пожалуй, нет затеи более безнадежной, чем пытаться сравнить жизнь двух противоположных систем – тоталитарной и демократической. Сколько ни пробуй, проблема лишь все больше запутывается. Что ни скажи – и верно, и неверно. Даже метафоры никакой придумать не удается.

Вот я написал – "две противоположные системы", а так ли это? Ведь не может быть двух абсолютно противоположных вещей, в чем-то они должны быть сходны. Какой-то общий элемент должен же существовать. Но, если не противоположные, тогда -- различные? А, значит, это различие можно измерить или хотя бы описать, ввести степени и градации. И глядишь – ты уже не лучше тех западных умников, которые утверждают, что разницы вообще нет, а есть лишь оттенки.

В каком-то смысле это напоминает попытку ученых сравнить человека с обезьяной. Вроде бы все сходно: и строение, и функционирование.

Даже мозг не отличается существенно. Пока измеряешь органы да анализируешь детали, особой разницы не видно. Но стоит отойти в сторонку и посмотреть -- непреодолимая пропасть. Дело, наверно, в том, что в обоих случаях у нас были общие предки.

Самое показательное и наглядное проявление этой биологической разницы двух миров можно наблюдать, так сказать, в естественных условиях. Поведение, реакции и впечатления советского человека, оказавшегося за границей, откроют вам больше, чем целая библиотека научных трудов на данную тему.

Прежде всего, что он знает о Западе, чего ждет? После десятилетий назойливого крика советской пропаганды о вечном кризисе капитализма, об эксплуатации и "контрастах", трущобах и безработных, умирающих с голода, дискриминации и власти капитала -- он чаще всего искренне верит, что едет в рай. Запад для него -- нечто вроде огромного магазина "Березка", где есть все, куда его теперь тоже пустят, потому что он теперь тоже иностранец, и где не нужно добывать валюту всеми правдами и неправдами, потому что там все деньги -- валюта. А что означает "все"? Ну, конечно же, мясо и, черт возьми, колбаса, и джинсы, и прочая одежда всякая. Ну, там, икра разная, семга, пластинки всякие, книжки, потом мебель настоящая, автомобили...

Но как ни напрягает он воображение, как ни тужится вспомнить прочие экспонаты иностранных промышленных выставок да импортные товары, которые ему приходилось видеть, реаль-

ность превосходит всякие ожидания. Ведь каждый представляет себе рай, исходя из того, чего ему не хватало, о чем он только мечтать смел. Увидевши же груды обуви, завалы одежды, десятки сортов колбас, всяческое мясо в неограниченном количестве да еще множество каких-то продуктов, товаров, предметов, о назначении которых мы уже ничего не знаем, даже старики не припоминают, -- советский человек просто балдеет, у многих, особенно у женщин, начинаются настоящие психозы. Одним кажется, что все это изобилие -- какая-то нелепая случайность, ошибка снабженцев и завтра-послезавтра исчезнет. Опять будут привычные пустые прилавки и километровые очереди. А потому они безудержно покупают все подряд, запасают впрок и не могут остановиться. У других -- психоз недоверия. Раз это добро общедоступно, разложено вдоль улиц свисает над головами прохожих и глядит из каждой витрины, оно не может быть настоящим. Это все напоказ, как в советских витринах, а покупать его никто не станет. Оттого и очередей нету и лежит это добро в огромных количествах, никого не привлекая. Нет, "настоящий" товар надо "добывать", "откапывать", "доставать" "налево", из-под прилавка или в таких хитрых местах, о которых знают лишь посвященные.

Словом, наступает кризис ценностей. Так же, как я стоял в аэропорту Цюриха над своим мешком с тюремным барахлом -- совершенно пораженный тем, что все мои ценности, ножички, бритвы, книги, накопленные годами, поколени-

ями зэков, на моих глазах превратились в ничто. А я-то их прятал, я-то их в подкладку зашивал, дрожал над ними при каждом шмоне. И даже тряпку половую привез в Цюрих, дубина... Ведь большую часть своей жизни проводит советский человек в бесконечных заботах, как бы достать, добыть, раскопать самые элементарные вещи. Сколько изворотливости, изобретательности нужно, чтобы сделать то, на что здесь уходит ровно пять минут. И вот весь этот опыт, все твое достояние рухнуло в один миг.

Итак, первое ощущение в раю — это полная потерянность, смятение, подавленность. Как у нас говорят: слишком хорошо -- тоже нехорошо. Попробуй выбрать что-то единственное среди этих джунглей добра, которого никогда в жизни не видел. Я как-то час простоял перед прилавком с 24-мя разными сортами маслин, да так ничего не смог выбрать, а только устал. Что там маслины -- без них, в конце концов, можно и обойтись. Но ведь каждый день, каждый час, особенно вначале, нужно что-то выбирать. Привыкши к советскому однообразию, стандартности, мы просто шалеем от здешней пестроты, а непривычная оживленность на улицах в любой будничный день, толпы никуда не спешащих людей, особенно молодежи, создают впечатление какого-то постоянного праздника или ярмарки. *Беззаботность* — вот, пожалуй, наиболее точное определение царящей здесь атмосферы. Нет этой бесконечной суеты, толчеи вечно раздраженных людей, которым надо успеть каждую свободную минуту сделать тысячу мелочей, составляющих нашу жизнь.

> Сроду не видел я такого количества праздной молодежи на улицах советских городов. В дневное время вообще встретишь только пенсионеров да бабушек с младенцами. Только в обеденный перерыв наполняются улицы угрюмыми толпами. И дальше, уже до самого вечера, то ослабевая, то нарастая, эта торопливая сутолока заменяет собою нашу городскую жизнь. А молодежи – что делать на улице? Редкие кафе забиты битком – нужно добрый час стоять в очереди, чтобы туда попасть. К тому же, веселья там мало: съел свой шашлык, выпил бутылку вина и иди домой, освобождай место другим. Разве что в кино сходить. Есть, конечно, "организованный досуг", всякие дома культуры и клубы с неизбежными кружками хорового пения, фотографии, хореографии и спортивными секциями. Но все это настолько искусственно, подконтрольно и казенно, что не может заменить общественной жизни или естественного развлечения. Разве что спортивные секции пользуются некоторой популярностью. В общем, для среднего человека основной чертой советской жизни является неистребимая скука, пустота – и одновременно чрезвычайная занятость какими-то бытовыми мелочами, каждая из которых вырастает в громадную, почти неразрешимую проблему. Отсюда – невероятно высокая преступность и почти поголовный алкоголизм.

Вот это, пожалуй, еще одна отличительная черта, бросающаяся нам в глаза с самого начала: отсутствие пьяных. Я не имею в виду просто подвыпивших людей, веселящихся в своей компании. Таких здесь сколько угодно. Практически каждый за день пропустит стаканчик-другой вина или пару кружек пива с кем-нибудь за компанию, а то и в одиночку. Нет, само отношение к выпивке здесь иное. Цель не в том, чтобы напиться,

как у нас, до бесчувствия, до озверения, а чтобы поддерживать какое-то время приятное состояние "под хмельком", растянуть его дольше, сделать беседу чуть веселее, раскованнее. Ни запойных, ни валяющихся на улице тел -- обязательная деталь советского городского пейзажа – здесь все же не увидишь.

То, что происходит в последнее время у нас, уже и алкоголизмом назвать нельзя. Скорее, это разновидность народной психотерапии: напиваются как можно быстрее или до полного забытья, или до такого отключения, чтобы вся накопившаяся злоба, ненависть и безысходность разрядилась беспорядочно на первого встречного.

> К тому же, все человеческое общение свелось у нас к пьянке. Встретивши знакомого, невозможно не выпить, а начавши пить – не напиться. Непьющий человек подозрителен: неизвестно, что копит в душе.

Но вот пересекли границу любимой отчизны, и очень многие вскоре "выздоравливают". Водка здесь не дефицит, по рублю складываться не надо, разливать тайком в подворотне – тем более. Пей, сколько влезет, никому дела нет. И – как-то не пьется под чужим небом. Да и нет той атмосферы алкогольного братства. Здешние "парти" поражают нас своей скукой, скованностью. В Англии особенно они производят впечатление какого-то коллективного самоистязания: темы разговоров изобретаются каждым в отдельности и всеми вместе, только чтобы не замолчать совсем. При этом все-таки периодически

наступают мучительно неловкие паузы, когда в глазах присутствующих паника, а то и тоскливый вопрос: черт их всех забери, когда же можно будет откланяться наконец?

Впрочем, это только "парти", на которые собираются люди малознакомые или незнакомые вовсе, иногда как раз с целью познакомиться. Во всех остальных ситуациях советского человека поражает именно непринужденность здешних людей. Не только в общении, одежде, поведении, но даже в походке или жестах. Словом, именно то неуловимое, что позволяет распознавать иностранца на улицах Москвы. Откуда это у них берется только? И вдруг, словно осеняет -- ба! да ведь это же и есть *свобода.* У них, этих чертовых иностранцев, никогда даже и ощущения такого не было, будто кто-то незримый постоянно стоит за спиной, будто пристальный глаз государства следит за каждым их движением. Им даже в голову не приходит, что кто-то вдруг может подойти и спросить грозно:

-- А вы, собственно говоря, что тут делаете?

На самом деле с нами это тоже не каждый день случается, но ведь мы постоянно ждем этого, а коль случится, отнюдь не удивимся. Бессознательно, что бы он ни делал, даже самое безобидное, подготовляет советский человек какие-то бесконечные оправдания, объяснения, доказательства в своем непрерывном внутреннем споре с вездесущим, мистическим *"они".* Врасплох советского человека не застанешь, даже если кто-то красномордый и самоуверенный вдруг схватит его за шиворот, закрутит руку за спину и поволочет... известно куда. Тут наш советский человек одно-

временно изобразит всем своим существом полную покорность и несколько преувеличенное удивление, которые у нас всегда наготове вместе с этими самыми объяснениями:

– Да в чем дело... да я же вот просто так здесь шел... я просто в магазин шел... вот и авоська у меня в кармане, можете проверить... эй, да погоди же, руку-то отпусти... руууу...ку! зачем крутить, я сам пойду... – При том при всем в голове своей он уже перебирает возможные причины, и как они всплыть могли, и что теперь делать. Кого у нас "взять" не за что? Разве младенцев новорожденных.

Да, это самое *они.* У нас ведь не скажут -- "правительство", скажут "они", "власть". Здесь же нет и понятия такого, и даже слова, означающего всеобъемлющую власть государства. Есть парламент, есть правительство, муниципальные власти, университетские власти, власть прессы, профсоюзов, полиции, таможни -- чертова прорва властей, большей частью занятых междуусобной борьбой. В целом для публики их существование безразлично, а присутствие не чувствуется; *они* не являются фактором повседневной жизни. Самое главное -- у *них* не нужно спрашивать разрешение в каждом случае. Принцип власти здесь скорее ограничительный, чем разрешительный.

Соответственно, прежде чем что-то сделать, никто себе даже вопроса не задаст: а можно ли? Столкнувшись же с препятствием любого порядка, не скажет человек, как у нас: вот ведь чертова власть какая, ничего сделать не дают. Разве что коммунистическая демагогия вовсю лает "власть".

В теории кто не знает, что здесь свобода? Кто не слышал о парламентах, партиях и независимой прессе? Более или менее каждый человек наслышан об этом и даже склонен преувеличивать степень политической свободы на Западе. Поражает совсем другое — какие-то неожиданные детали, вполне, казалось бы, естественные в здешнем окружении теоретически, однако психологически трудно примиримые с нашими привычными представлениями. Как-то в Лондоне я шел вечером, занятый своими заботами, и, проходя мимо массивного здания церковного типа, рассеянно взглянул на табличку. Вполне обыденная табличка с надписью "Свидетели Иеговы" и что-то там еще, чего я даже и прочесть не смог из-за поразившего меня крайнего удивления, почти испуга. Как, -- подумал я, -- это те самые "иеговисты", "сектанты-изуверы", которыми у нас власти детей пугают, -- самая подпольная, самая секретная из всех "сект" в СССР? Живых иеговистов только и увидишь, что в тюрьмах, но даже и там они -- в подполье. Легенды ходят по лагерям об их почти невероятной организованности, чудесах конспирации и изобретательности. Очевидцы рассказывают, что даже в самой режимной тюрьме, в карцере, под семью замками, они регулярно получают свой журнал "Башня Стражи", издающийся в Бруклине, причем чуть ли не свеженький, последний выпуск. У властей они вызывают почти мистический ужас, граничащий с суеверием, отчего, конечно, любой обнаруженный иеговист автоматически попадает в тюрьму на длительный срок. И

вот вдруг — здание, табличка. Выходит, всякий может запросто заскочить к ним на чашку чая?

Быть может, параллель моя неудачна, но, чтобы дать хоть какое-то представление об охватившем меня чувстве, вообразите на минутку, что вы вдруг увидели здание с вывеской "Коза Ностра Лимитед. Штаб-квартира мафии". Ведь иеговистов и преследуют у нас почти как мафию, и таинственность их окружает почти такая же.

Парадоксально, но факт: сознание свободы наступает не при виде демонстраций, забастовок, парламентских дебатов и множества газет, а от столкновения с мелочами, которых западный человек не замечает вовсе. Так же, как меня в Цюрихе поразила "вежливость" автомобилей или потом поражала постоянная веселая пестрота улиц, обилие музыкантов, играющих на каждом углу не столько для заработка, сколько для собственной забавы, — каждого поражает что-то свое, вполне неожиданное. Например, фотокопировальные машины на каждом вокзале или в каждом почтовом отделении. Монетку опустил — и получай копию. Никто не проверяет, что ты там копируешь, никто не подсматривает, чтобы властям донести. Для нас — невероятно. Можно себе представить, как расплодился бы самиздат, если б такое было у нас возможно.

Трудно передать это ощущение, вдруг пронзающее тебя насквозь, не то боль, не то испуг:

— Бог мой, ведь это и есть *свобода*. То есть — я на свободе...

И, точно завороженный, стоит человек перед

какой-нибудь копировальной машиной или светлым табло в аэропорту: "Рим, Вена, Франкфурт... Нью-Йорк, Копенгаген..." Невероятно...

Я люблю наблюдать за людьми, за их походкой, жестами, манерой общения, выражением лиц. Эти детали говорят мне больше, чем все слова, которые они могут сказать сами. Слова безличны, бессмысленны, стерлись от употребления. Да и вообще их назначение -- скорее сбить с толку, скрыть человека точно в облаке тумана. Это все средства обороны. Недаром люди так боятся молчать друг с другом и все говорят, говорят, говорят... Баррикады слов. Разглядывая же разноголосую толпу где-нибудь в большом международном аэропорту, я неизменно вновь переживаю эту острую боль свободы. Боже ты мой, какие же они все здесь молодые или, точнее, моложавые, не взрослеющие, точно вечнозеленые растения тропиков, не ведающие корявого уродства жестокой зимы. Сколько же в них наивной энергии и доверчивой тяги к солнцу! Даже старички какие-то румяные и энергичные... Когда приходит смерть, они, наверно, ужасно удивляются, да так и умирают изумленно. А дети? Пожалуй, они здесь воспитанней, сдержанней, не такие назойливые, не пристают беспрестанно к взрослым, а взрослые не одергивают их поминутно. У них нет этого зуда, нетерпения, стремления постоянно быть в центре внимания, а у родителей – привычки постоянно их воспитывать, поправлять, понукать и грозить наказанием. Они гораздо больше предоставлены самим себе, благо им есть чем заняться. Такого обилия

и разнообразия игрушек, развлечений, забав я в жизни своей не видел. Что у нас было в детстве? Игра в войну, каток, драки. Здесь же в одном Диснейлэнде можно полжизни провести. Глядя теперь на все эти электронные автоматы и завороженных ими детей, я вдруг чувствую себя навсегда ограбленным. По сравнению с этими пацанами у нас просто не было детства. Но в результате здесь взрослеют гораздо позже, а голубоглазая, румяная наивность практически так и не исчезает до смерти. Особенно у американцев. Быть может, это закон природы: человеку должно быть трудно, чтобы он полностью развился? Быть может, наоборот, наивность и есть нормальное состояние человека, а горький опыт лишь растлевает душу, делая нас циничными старичками с ранних лет?

Как-то осенью 70-го года ко мне в дверь постучались два паренька лет по 9-10.

– Мы собираем деньги на книжки для вьетнамских детей, – бойко и заученно отрапортовал один, глядя мне прямо в глаза ясным, чистым взором. И, увидев мое колебание, повторил с легкой ноткой укоризны в голосе: – Детям... на книжки...

Что мне было сказать? Не мог же я объяснять десятилетним детям всю сложность советской авантюры в Юго-Восточной Азии или хотя бы тот простой факт, что деньги их пойдут отнюдь не детям и отнюдь не на книжки. С другой стороны, я чувствовал, что физически не могу просто молча дать денег и отвязаться, зная, куда эти деньги идут. Пусть даже десять копеек – дело ведь не в сумме. Пуля стоит недорого.

По счастью, сидевший у меня приятель, видя

мои затруднения, выпроводил детей под каким-то предлогом. Сам бы я так ни на что и не решился – скорее всего, просто отказал бы, не вступая в объяснения. Эпизод этот надолго застрял в моей памяти, особенно это его укоризненное: "Детям... на книжки...". Я злился на себя за нерешительность, за это свое смущение и в душе проклинал советские власти последними словами – черт их дери, до чего все запутали...

Какое же было мое изумление, когда недели через две вдруг выяснилось, что эти ясноглазые детишки собирали деньги по собственной инициативе, себе же на мороженое. Случайно они нарвались на свою же учительницу – она их и разоблачила. И не то поразило меня, что, несмотря на весь свой лагерный опыт, попался как последний простак на детскую хитрость – и на старуху бывает проруха, – а потрясла меня беспредельность их цинизма, вполне взрослое знание нашего привычного лицемерия. Ведь они, паршивцы, отлично понимали, что отказать никто не посмеет, а выяснять постесняются. Чтобы уже в десять лет постичь и приспособить официальную идеологию для своих нужд – согласитесь, показатель поразительного цинизма. Чего же можно ждать от взрослых!

А теперь представьте себе конференцию демократической партии США и вполне взрослых людей, рыдающих навзрыд под впечатлением насквозь демагогической (почти не уступающей Геббельсу) речи лощеного, щеголеватого политика-миллионера о страданиях безработных. Какой же все-таки неистощимый запас наивности у этих людей!

Соответственно поражают нас своей наивностью и западные "проблемы". Еще читая о них в советских газетах, пожимаем мы плечами в

недоумении. Кроме чувства зависти и досады, ничего не вызывают эти проблемы в душе советского человека, напоминая лишь все тот же анекдот о бедном Мойше. Полуголодный, невыспавшийся, набегавшись по хозяйству в своем нищем местечке, бредет Мойше в школу и там почти спит от усталости. "А скажи-ка, Мойше, сколько ног у таракана?" – говорит учитель, важно расхаживая по классу. –"Мне бы ваши заботы, господин учитель", – вздыхает Мойше.

Ну, в самом деле, что же еще нам сказать, слыша жалобы на пробки в часы пик, на диеты и страдания миллионов людей от ожирения, на "общество потребления"? Мы-то потребляли бы с удовольствием – было бы что! Ну, не нравится – не потребляйте. В чем проблема-то? На кого же вы жалуетесь? На себя?

"Потребительство" всерьез здесь причисляется к язвам капитализма, как будто при социализме человек питается цветочным нектаром, словно пчелка. Особенно достается рекламе, которой приписывается магическая сила, якобы контролирующая современное общество. Не знаю: может, наш советский опыт отучил нас верить рекламе, и мы выработали к ней иммунитет. (У нас ведь рекламируют только то, что никуда не годится, – хорошее и так раскупят, только шепни, что оно есть.) Я лично с удовольствием смотрю рекламы по телевидению – они забавны, сделаны часто с выдумкой и юмором. Но ни одного случая не помню, чтобы реклама заставила меня купить что-то мне не нужное. Здешние же люди – как малые дети, увидавшие иг-

рушку: войдя в магазин купить зубную пасту, выходят, лишь растратив всю наличность. А потом жалуются на "общество потребления".

Согласно русской пословице, "сытый голодного не разумеет"; но ведь и голодный сытого тоже. И, приехав на Запад, не сразу ссображает человек, что "они", "иностранцы", "люди Запада" – это теперь и мы. Новая жизнь требует привычки.

Взять хотя бы масштабы проблем. В СССР, скажем, если ваш город уже несколько месяцев не видел мяса, никому даже в голову не придет называть это "проблемой" или, того хлеще, "кризисом". Советские газеты в лучшем случае назовут это "временными трудностями". Здесь же что ни день, то "кризис". С непривычки нам его никак не разглядеть. Читаешь, например, в газетах: "Энергетический кризис". Не какие-нибудь трудности. *Кризис.* "Черт! -- думаешь себе. -- Значит совсем плохо дело". Но, подлетая, скажем, к Нью-Йорку, первое, что видишь, -- зарево света, будто кто-то в шутку атомную бомбу взорвал. Все светится и сияет. Где только можно было фонарь прицепить -- прицепили; что только можно было зажечь -- зажгли, чтоб не впотьмах писать о кризисе...

Наверно, у нас слишком живое воображение. Когда слышишь выражение "кризис городов", невольно представляешь себе нечто вроде "последнего дня Помпеи": мятущиеся толпы обезумевших людей, пожарища, грохот рушащихся зданий. А уж что такое правительственный кризис, мы себе даже и представить не можем, раз-

ве что в виде перестрелки между членами кабинета министров.

Страсть к преувеличениям здесь невероятная, а любая мелочь принимает драматический оттенок. Я далек от мысли следовать здешней моде и упрекать за это прессу: она лишь удовлетворяет жажду своих читателей к сенсациям. Как говорится, на зеркало неча пенять, коли рожа крива. Но так уж, видно, устроен здешний человек, что *никогда и ни в чем* не упрекает самого себя. Даже мысль такая кажется ему кощунственной, почти как заговор против демократии. И как-то никто не замечает, что добрая половина "кризисов" возникает именно по этой причине.

Растянувшись через весь город, валит нескончаемая колонна с красными тряпками.

– Чего мы хотим? – кричит толпе в мегафон кто-то из организаторов.

– Денег! – ревет толпа.

– Когда мы хотим?

– Сейчас!

Прохожие и проезжие, скучая, ждут с привычным безразличием, когда же возобновится движение. Даже нетерпения нет на их лицах. Я же никак не могу сдержать улыбки. Неужели эти люди думают, что только им нужны деньги и непременно сейчас? Да ведь и Ротшильд, небось, каждое утро думает то же самое. Но эти всерьез верят, что им – нужнее всех. Ни тени юмора. Они уверены, что весь мир им должен, так они приучены мыслить. Главное – требовать!

И в результате – бешеная инфляция, спад, безработица – "кризис". И виноват, конечно, кто угодно, кроме них.

Поразительная эта все-таки особенность у человека – проекцировать свои внутренние беды вовне, а потом требовать переделки мира. Точно щенок, воюющий с собственным хвостом. Установки общества диаметрально противоположны: в СССР человек всегда неправ, а государство право; здесь же человек убежден, что ему всегда должно быть хорошо. Он всерьез верит в свое право на счастье. А коль ты заболел, то все здоровые в ответе, коли бедный – разумеется, богатые виноваты. Чисто детская эгоцентричность и столь же детское нежелание признавать какие-либо ограничения. В моем колледже в Кембридже вдруг взбунтовались студенты, оккупировали колледж и устроили сидячую забастовку. Причина: один из студентов за грубость с обслуживающим персоналом был наказан – на месяц лишен права посещать бар в колледже. Расскажи я этот случай кому-нибудь в СССР – надорвались бы от смеха. Ну, вышвырнули бы их у нас из университета в пять минут, забрали бы в армию, а потом всю жизнь "варились" бы они "в рабочем котле" без права на высшее образование.

Это лишь первый пример, пришедший мне в голову. Таких тысячи, и, в конце концов, не наше это дело. Мы здесь гости – не нам судить хозяев. Но что нас действительно из себя выводит – это лицемерие, двойные стандарты, нежелание понять другую сторону. Скажем, какой-

нибудь эксцентрик попыл в корыте через океан -- так, от скуки. Весь мир волнуется, военные корабли отклоняются от курса, чтобы ему помочь, вертолеты спешат ему на помощь со всех концов. Он картинно позирует перед телекамерами, вызывая восторги дам. А в это же время тысячи вьетнамцев, спасаясь от террора, тонули в каких-то дырявых лодках, неделями боролись с голодом, жаждой и стихией -- и никому не было дела. Капитанам кораблей даже запрещено было их брать на борт, чтобы не пришлось потом принимать новых эмигрантов в свою страну.

Или вот еще картинка. Большая демонстрация медсестер в Риме. Опять же неизменные красные тряпки, крики, и все это под лозунгом: "Хотим таких же условий, как у медсестер в СССР!" Надо же такое придумать! Ну, что они не знают о жизни медсестер у нас? Я бы даже своему следователю из КГБ не пожелал такой жизни. Позавидовали... Ну, сократите себе зарплату раз в пять, закройте профсоюз и работайте на двух-трех работах по совместительству, чтобы концы с концами свести.

Ворчит советский человек: "Вас бы всех на годик-другой в СССР, то-то поумнели бы... Объяснять бесполезно; послушать-то послушают, а в голове так ничего и не останется. Слишком много у них свободы, слишком легко она им досталась". Особенно странно старым зекам глядеть на всех этих молодых людей с раскрашенными волосами, серьгами в ноздрях и разодетых, как попугаи. "В лагерь бы их, то-то потехи...".

* * *

Но к изобилию легче привыкнуть, чем к пустым прилавкам, а к свободе -- чем к тюрьме. Свобода ведь не марсианами занесена к нам, она -- естественное состояние. Где-то через пару лет наш советский человек чувствует себя за рубежом как если бы здесь и родился. Притупляется острота первых впечатлений, проходит ощущение вечного праздника, а приступы острого чувства свободы становятся все реже, пока не исчезнут совсем. Наступает не то чтобы разочарование, а некоторое остывание, вследствие которого человек делает несколько удивительных открытий.

Вдруг оказывается, что постоянно не хватает денег, нужно все время считать, рассчитывать, экономить. Как это вдруг получается -- непонятно. И деньги те же, что вначале, может, даже и больше, цены пропорционально те же, а -- не хватает. Что же случилось? -- удивляется человек, -- вроде бы ничего особенного себе не позволяем, живем "как все". И куда только деваются эти чертовы деньги?

На самом деле, искусство экономии нам мало знакомо. Теоретически возможны лишь два варианта, когда денег считать не надо: если их невероятно много или если их вообще нет. Привыкнув к последнему, мы, сами того не подозревая, вели аристократический образ жизни.

В этом смысле все население СССР можно грубо разделить на три категории. Первая -- те, кто живет только на зарплату. Официальный зарабо-

ток у нас настолько мизерный, что его и на пропитание едва хватает, даже при том условии, что обычно в семье работают и муж, и жена, да еще и старики, если живы, добавляют свою пенсию. Как эти люди ухитряются прожить, всегда было для меня загадкой. В день получки, раздав прошлые долги, они почти тотчас же вновь занимают у сослуживцев и знакомых. Так эта карусель и движется всю жизнь. В сущности, человеку много не нужно. Картошка, хлеб, рыбные консервы. Беда приходит, когда прохудятся ботинки, уже настолько чиненные-перечиненные, что больше их и починить нельзя. Еще беда, коли муж пропьет получку, что случается довольно часто. Когда подрастают дети и сами начинают работать, свести концы уже легче. Однако при любых обстоятельствах особенного искусства экономии не требуется: купить в магазине все равно нечего. Да и не в русском это характере – экономить.

– Э, черт! – рассуждает мужик. – Не жили богато, и не время начинать. Как-нибудь баба выкрутится. – И пропивает получку с приятелями. Дома, конечно, скандал, а то и драка, но, глядишь, действительно выкрутилась. Семьи у нас держатся на женщинах, а вся их экономия сводится к покупке дешевых продуктов. Нет денег, нет товаров – нет и соблазнов. Одну и ту же одежку, штопанную, перелицованную, заплатанную, носят годами.

Большинство, однако, живет "левыми" приработками, "халтурой", крадут с работы все, что можно так или иначе приспособить в хозяйстве, продать на черном рынке. Недаром худшее проклятье у нас: "Чтоб тебе век на одну зарплату жить!"

Чтобы представить себе масштабы этих нелегальных приработков, возьмем такой факт: средняя зарплата по стране 140-150 рублей в месяц, а женские сапожки стоят 70-90, то есть вроде бы никому, кроме крупных чиновникой, они вооб-

ще не по карману. А если автомобиль стоит 5500 рублей – так это надо три года работать и не есть, чтобы его купить. А поглядишь на улице: и сапожки носят, и автомобилей полно. Те самые товары, которых нет в магазинах, стоят на черном рынке невероятных денег. Несчастные джинсы, которые здесь копейки стоят, там – минимум 150 рублей, как месячная зарплата! И ведь покупают, только давай.

Но "левые" деньги – шальные: легко приходят, легко уходят. Кто же их экономит? Откладывать их вообще-то опасно: поймают – все равно отберут. Что не успел потратить, лучше пропить. Словом, советский человек живет, в основном, сегодняшним днем, дальних планов не строит. Да и вся наша жизнь носит отпечаток временности, нереальности, пустоты – мы вроде пассажиров на вокзале своего поезда. Знал я даже одну женщину, которая за всю жизнь кружки не купила, пила чай из стеклянных банок из-под консервов: "Ааа, да какая разница!"

И только крупные чиновники, ученые или деятели искусства составляют особую категорию привилегированных, у которых будущее не ограничивается сегодняшним днем. Но даже им экономить не нужно: специальные закрытые распределители, дефицитные импортные товары, поездки за границу и прочие подобные привилегии делают их жизнь еще более нереальной.

Особую группу составляют отставные полковники МВД или КГБ. Это, пожалуй, единственная у нас социальная прослойка, живущая с расчетом, не торопясь. Разводят клубнику у себя на дачах, вызывая своими высокими заборами завистливое почтение окрестных жителей.

В общем же, не умеет советский человек жить по-настоящему экономно, как, скажем, англичанин, который пойдет в пивную за две мили от

дома, а не в ближайшую, только потому, что в дальней пиво на два пенса дешевле. "Э, да хрен с ним, -- скажет советский человек, махнув рукой, -- все равно денег нет". Здешняя жизнь, однако, устроена таким образом, что если не считать постоянно пенсов, то никаких тысяч не хватит. Улицы полны соблазнов; куда ни глянь -- что-то тебя манит. Словом, сохранить советские привычки и при этом жить "не хуже других" -- необычайно разорительно.

-- Вот ведь задача, -- удивляется советский человек, -- всю жизнь в Союзе прожил, никогда копеек не считал, а тут приходится.

Другое "открытие" для нас -- чудовищная бюрократия на Западе и невероятная покорность, с которой к ней относится местное население. Слов нет, с советской ее, конечно, не сравнишь. Там она просто сплошная, да еще переплетена с партийной. На каждого человека там ведется по меньшей мере десяток досье ("личных дел"), а если ты с этой бюрократией не поладил, то все государство, от дворника и милиционера до судов и правительственных верхов, встает единым монолитом против тебя. Человек без бумажки у нас просто не существует. Не дали тебе справки -- и нет тебя. Но там, по крайней мере, можно взятку дать или найти "блат", который, как известно, сильнее наркома. (Может, это и здесь можно, да мы не знаем, как.) К тому же, здешние чиновники значительно более независимы от своих начальников -- жалобой их не напугаешь. Наконец, даже жаловаться здесь некуда, и отвечать на жалобу тебе не обязаны. Это, несомнен-

но, величайшее здешнее упущение, потому что психология чиновника везде одинакова. Чем мельче чиновник, тем больше ему хочется показать свою власть над тобой, а чем меньше у тебя возможности его проучить -- тем он наглее. В советских условиях власть чиновника ограничена его боязнью начальства, комиссий, проверок, ревизий и того из подчиненных, который норовит его "подсидеть". Здесь же этот сдерживающий фактор отсутствует. Что может сделать ему начальник, если чиновники объединены в собственный профсоюз? Чем ты его, черта, напугаешь? Пиши хоть президенту -- ему наплевать.

В целом, здесь есть только два механизма воздействия на бюрократию: суды и газеты. Но ведь не по каждому же поводу будешь судиться. Это и долго и дорого. Да и газеты тоже не по каждому пустяку могут писать. В общем, западный человек практически беззащитен перед бюрократией, а иногда и перед чиновничьим произволом. Разумеется, как и в СССР, при любом конфликте остальные чиновники встанут на сторону своего коллеги, поскольку круговая порука -- естественная защитная реакция бюрократии. Здесь эта реакция, пожалуй, даже сильней и почти что узаконена как "лояльность интересам ведомства, корпорации" и т.п.

Существенное отличие от СССР в том, что ни убить, ни в тюрьму посадить, ни даже принести тебе существенный ущерб они не могут -- тут уж суд тебя защитит. Но вот поиздеваться могут вволю и безнаказанно.

Один паренек, сын моих парижских друзей,

захотел съездить на пару недель в США. Казалось бы, ничего сложного: мы ведь в свободном мире -- бери билет и лети. Не тут-то было. В американском посольстве в Париже, где он несколько часов простоял в очереди, с ним даже и говорить не стали: "У нас нет гарантии, что ты вернешься назад". Разумеется, такой ответ подействовал на молодого человека как пощечина. В самом деле: что за нелепость! Подход почти советский: не они должны доказывать наличие у меня преступных намерений, а я должен доказывать их отсутствие. Иди докажи, что ты не верблюд. И, наконец, что значит -- гарантии? Деньги, поручительство? Каких гарантий и от кого им нужно?

Я был тогда очень занят и потому посоветовал молодому человеку первое, что пришло мне в голову, -- обратиться с официальной жалобой к тогдашнему госсекретарю Маски. Результат, однако, озадачил меня еще больше, поскольку еще больше напомнил манеру советской бюрократии: жалобу из Вашингтона переслали в Париж как раз тем лицам, на которых парень жаловался. Его еще раз вызвали и опять отказали, только в уже гораздо более вежливой форме. Ответа же из Госдепартамента он так и не получил.

Не знаю, быть может, в силу особых обстоятельств моей жизни, но только подобные истории выводят меня из себя, как если бы все это произошло со мной. Бюрократический произвол вызывает у меня необузданную ярость, а лицемерие -- в особенности. Ведь вот с меня ни один из них не потребовал "гарантий". Хотя, ес-

ли разобраться, положение у нас юридически одинаковое. И он, и я — эмигранты, только я старше, и у меня есть влиятельные друзья в Вашингтоне, а у него нет. Я могу их высмеять в печати, а он не может. В общем, я жутко обиделся и позвонил в Вашингтон. Несколько моих друзей охотно послали телеграммы в американское посольство в Париже с просьбой выдать парню визу. Не тут-то было. Бюрократию заколодило. В результате сложных маневров и длительного обмена телеграммами между Вашингтоном, Парижем и Лондоном у меня состоялся весьма любопытный разговор с некоей мисс Джексон, сотрудницей американского посольства в Париже. Поскольку основной ее аргумент сводился к тому, что эмигрант 18-ти лет без постоянной работы непременно должен стремиться нелегальнос остаться в Америке, я постарался заверить ее, что такого стремления у него нет, что в Париже у него семья и что он фактически работает уже несколько месяцев.

— Я достаточно хорошо знаю и его, и его семью и уверен, что никаких осложнений не произойдет. Я вам это гарантирую. Вам достаточно этой гарантии?

Нет, такой гарантии ей было недостаточно.

— Вот если бы ему было лет 25 и он хотя бы работал на одной и той же работе несколько лет...

— Постойте, что же вы, значит, не пускаете туристов моложе 25 лет? Ведь людей в таком положении, как он, должно быть очень много. Согласитесь, очень трудно найти молодого чело-

века 18-ти лет, который уже несколько лет работал бы на одном месте.

-- Совершенно верно, -- нисколько не смутилась она, -- наша работа в том и состоит, чтобы им отказывать. Мы все время отказываем тысячам таких, как он.

Странная работа, не правда ли, -- сеять антиамериканские настроения среди европейской молодежи.

-- В таком случае, чего же вы хотите от меня, каких гарантий? Если вы не доверяете ни мне, ни моим друзьям, должен ли я просить вашего Президента вмешаться?

-- Президент здесь тоже ничего сделать не может. Он назначил нас делать эту работу. Никто ничего сделать не может. Ваш молодой человек просто принадлежит к той категории лиц, которым мы должны отказывать.

Что было делать? Для нее, как и для ее коллег в Москве, человека нет, а есть "категория".

... И это только одна история наугад из многих тысяч.

* * *

Но самое большое открытие -- что Запада как такового нет. Мы так привыкли при каждом случае говорить: "а вот на Западе..." Мы, живя в Советском Союзе, привыкли представлять себе этот мифический Запад как комфортабельный отель или большую гостиную, где приличные люди культурно общаются друг с другом. Даже передавая иностранцам материалы самиздата, мы никогда не заботились о том, в какую из запад-

ных стран предпочтительнее их послать. Какая разница? Там, на Западе, разберутся.

Когда-нибудь специалисты будут писать целые исследования о происхождении и употреблении слова "Запад" в русском языке; во всяком случае, эта тема слишком сложна, чтобы углубляться в нее сейчас. Отмечу лишь мимоходом, что понятие это у нас отнюдь не географическое: в него каким-то образом входят и Япония, и Австралия, а Куба, например, не входит. Или вот, скажем, Финляндия, по мнению большинства моих земляков, "все-таки Запад", а Восточная Германия – определенно нет. Удивительную шутку с нашим языком сыграл двадцатый век!

Между тем, не только политического единства нет между западными странами, но и вообще ничего такого, что можно было бы назвать одним словом. Это мифическое нечто ощущается только в СССР и рассыпается при пересечении его границ. Даже понятие "западная культура", боюсь, существует лишь в нашем воображении. В Англии, кроме узких специалистов, мало кто будет знать о последних новинках французской культуры (и наоборот), в Италии – о немецких, в Испании – о голландских, в Америке – о европейских. Знание иностранных языков значительно хуже, чем мы предполагали (за исключением "малых" стран: Голландии, Норвегии, Швейцарии и т.п.). И, хотя моды, песенки, настроения постоянно мигрируют из страны в страну, а число туристов, посещающих ежегодно основные европейские страны, исчисляется порой десятками миллионов, национальный эгоцент-

ризм удивительно высок. Тенденция нашего времени, пожалуй, скорее в возрождении национального, чем космополитического.

Во всяком случае, в настоящий момент трудно придумать более бессмысленное выражение, чем "западная культура", если, конечно, не иметь в виду массового ширпотреба. Национальные же традиции, характеры, темпераменты -- очень различны. Характерная деталь: моя книга "И возвращается ветер..." должна была выйти в девяти странах почти одновременно, и вот издатели разных стран просили меня об абсолютно разных сокращениях, так что я уже начал опасаться, что получится девять разных книг. И это была не просто издательская прихоть, а судя по местной реакции -- отражение национального характера. Одну и ту же главу, например, датчане предлагали выкинуть совсем, в то время как крупный итальянский журнал печатал целиком. Если французы хотели больше политических рассуждений -- англичане и американцы предлагали их убрать; испанцы же советовали выкинуть все сколько-нибудь живые эпизоды, оставляя одну риторику. В конце концов я ничего менять не стал, справедливо полагая, что книга должна быть одна для всех, а кому не нравится -- пусть не читает. Книга ведь не костюм, который можно скроить по заказу. Но в чем-то они, конечно, были правы, лучше зная нравы своей читающей публики.

Трудно понять, откуда у нас берется эта иллюзия Запада. Только ли оттого, что в странах, которые мы к нему причисляем, существует де-

мократия? Но ведь понятно, что свобода -- это прежде всего разнообразие, непохожесть, поскольку позволяет людям беспрепятственно проявлять свои особенности. Быть может, мы просто привыкли смотреть на мир с точки зрения "они -- мы"? Или просто привыкли к однообразию, унификации? Наверно, всего понемножку. Пожалуй, нигде больше нет у людей такой привычки мыслить в геополитических терминах -- разве что еще в Иерусалиме. В противоположность же нашему убогому однообразию мыслится однообразие роскошное. Таковы пределы человеческой фантазии.

Но есть и еще причина, более глубинная, вытекающая из того же анекдота о школьном учителе и бедном еврейском мальчике. По сравнению с нашими бедами все кажется несущественным. Мысленно мы как бы примеряем к себе эти западные страны, словно одежку. А, какая разница: что фрак, что шотландская юбочка -- главное, что не голый!

Глядя откуда-нибудь из Пензы или Рязани, все эти западные разницы кажутся такими незначительными, что понятие "Запад" вполне осязаемо. Слишком уж велика разница между "здесь" и "там". Но, пересекши границу, очень скоро и следа не остается от этого тоскливого рязанского взгляда. Запад-то он, может, и Запад, а все-таки далеко не безразлично, где осесть.

Уезжая в эмиграцию, опять же мало задумывается советский человек -- куда? Как куда? -- на Запад! Ну, не понравится в одном месте, переберемся в другое. Небось, там это не пробле-

ма, лишь бы вырваться. Однако выбор оказывается весьма ограниченный. Язык, да возможность работы, да поближе к друзьям, да еще куда пустят, да где уживешься... Для эмигранта все здешние проблемы почти удесятеряются. Каждый шаг -- в неизвестность.

Легче всего маленьким детям. Они и язык, и новые порядки усваивают мгновенно, а через пару лет их уже не отличишь от местных детей. Ребятам постарше, лет в 13-15, уже значительно труднее. В этом возрасте они и вообще-то застенчивы, трудно налаживают отношения с окружающими, а тут еще и языковый барьер, и тоска по дружкам, оставленным дома. У моего племянника, к тому же, была дополнительная сложность: первые два года он был тяжело болен. Ни в нормальную школу его отдать, ни куда-нибудь еще сводить, где он мог бы подружиться с ровесниками. Совсем тоска парню. Решил я ему к Новому году подарить щенка. Все-таки будет компаньон, вроде приятеля. Я был в то время в Англии, а они все в Швейцарии, куда я выбирался только к Новому году, т.е. раз в году на несколько дней. По телефону трудно было договориться, каукю именно собаку он хочет. Понял я только, что большую, самую большую в мире. Сказано -- сделано. Я поглядел в собачьем справочнике и обнаружил, что самые крупные -- Пиренейские горные собаки, -- белые, лохматые чудища, похожие на полярных медведей. Дело устроилось легко. В Англии оказалась специальная ферма, где этих чудищ выращивали на продажу. Словом, уже в ноябре, без каких-либо задер-

жек, щенок был доставлен в Цюрих самолетом и вселился в нашу квартиру. Маленький, пушистый зверек, не больше кролика.

Прошел год. Я был занят по горло -- начались занятия в Кембридже -- и попал снова в Цюрих только на Рождественские каникулы. Каково же было мое изумление, когда я застал дома следующую картину: в гостиной, в самом удобном кресле, развалясь по-хозяйски, сидело чудовище и меланхолично жевало кость. Если кость выпадала из пасти, чудовище обводило присутствующих полувопросительным взглядом и отрывисто, повелительно гавкало. Тут вся семья опрометью бросалась к нему, и кость водворялась в его мохнатую, клыкастую пасть со всей поспешностью. Оказалось, что в Швейцарии собакам категорически запрещается гавкать, (во всяком случае, хозяин дома, где жила моя семья, поставил такое условие), и умный зверь, пользуясь ситуацией, полностью поработил мое семейство.

Жалобам не было конца. Практически вся мебель в доме была обгрызена, а все ботинки и перчатки изжеваны. Что было делать? Отдать собаку чужим людям казалось мне почти предательством, и я решил забрать его с собой в Кембридж, где в то время у меня был свой домик с довольно приличным садом. Пусть себе гавкает на здоровье. Но не тут-то было.

Почему-то англичане считают, что все бешеные животные приезжают к ним из-за границы, а своего бешенства у них возникнуть никак не может. Во всяком случае, ввезти в Англию животное труднее, чем наркотики. Для четвероногих им-

мигрантов предусмотрен карантин на *полгода,* а их хозяевам предоставляется право приходить к ним на свидание, как родственникам в тюрьме. Стоит все это удовольствие 40 фунтов в неделю, т.е. столько же, сколько в Англии зарабатывает неквалифицированный рабочий.

Поставленный перед выбором: или посадить лучшего друга человеков в тюрьму, или отдать его в чужие руки, я, все-таки, предпочел последнее. Этика старого зека не позволяла поступить иначе, а моим в Цюрихе так и не удалось найти квартиру, где бы собакам позволялось пользоваться свободой слова. С другой стороны, англичане наотрез отказались признать его британское происхождение и облегчить процедуру возвращения на родину. Бедный пес! Сам того не подозревая, он оказался в типично эмигрантской ситуации: там легко въехать, но нельзя тявкать; тут тявкай сколько влезет, но въехать не позволяют. Спасибо, нашлись хорошие люди — приютили его, бедолагу.

* * *

Но вот разбросало нас по белу свету. Так ли, сяк ли, а все устроились. Прошла пора первых восторгов, первых удивлений, открытий и разочарований, период критических сравнений, когда человек невольно вскрикивает: "Надо же, совсем как у нас!" Или даже: "У нас, пожалуй, было лучше..." Удивительно, как быстро забывает человек вск скверное, что с ним происходило, а вернее сказать, это скверное предстает вдруг в ином свете — героическом. Казалось бы, уж на

что война дело недоброе, а и то старые вояки вспоминают ее как лучшую пору своей жизни. Теперь, 35-40 лет спустя, кажется им, что дышали они тогда полной грудью, а во всем происходящем был высший смысл, особые отношения с людьми и скрытая цель. Так вот и бывший зек иной раз вздохнет и признается, что в тюрьме ему, пожалуй, было лучше.

Я убежден, что ностальгия -- вовсе не тоска по родине, а тоска по прошлому, которое всегда кажется нам лучше сегодняшнего. Так приговоренному к смертной казни каждая прошедшая минута кажется лучше наступившей, а дряхлому деду мерещится, что в дни его молодости и морозы были крепче, и люди смелее. Эмигранта роднит с ними обоими невозможность возвратиться. Такое же сводящее с ума ограничение, как для заключенного -- вечно запертая дверь его камеры. Но вот ее отперли, и первый же взгляд на грязную улицу, дощатые заборы, унылых прохожих напрочь развеивает многолетнюю мечту о свободе. (Мне приходилось встречать в лагере людей, бежавших из СССР и вернувшихся назад в погоне за прошлым. По их рассказам, тотчас же, при пересечении границы, приходило сознание совершенной непоправимой ошибки. Чем дальше, тем меньше узнавали они то, что грезилось им в эмиграции, а прибыв в лагерь, уже ностальгировали по оставленному Парижу, Лондону, Риму...)

Странно, не правда ли? Еще какой-нибудь год назад нас раздражала неспособность западных людей понять всю пропасть между нашей

жизнью и здешней. Все эти умники, для которых нет разницы, а есть только оттенки. И вот мы уже сами не лучше. Только что мы сердились на безразличие, апатию, эгоизм, узость интересов, стремление к покою и благополучию любой ценой, неумение ценить доставшиеся им по наследству свободы, но – стоило нам обжиться, пустить корни – и мы становимся ровно такими же.

Метаморфоза эта наступает чрезвычайно легко. Я, например, всю жизнь не имел собственной крыши над головой и собственного ключа от собственной двери, чтобы, наконец, можно было запирать ее изнутри самому. Но, как только я все это приобрел, как только щелкнул мой собственный ключ в моем замке, я тут же почувствовал полное безразличие ко всему остальному миру. Я уселся в кресло, включил телевизор, и мне вообще не захотелось больше двигаться. Пусть я вот так буду сидеть и сидеть, а *они* мне что-нибудь показывать. Я ощутил физическую потребность все забыть, отгородиться. Телефон зазвонит – не подойду. В дверь постучат – не открою. Ну их всех к черту с *их* проблемами. Ну и, конечно же, всякое наступление, посягательство внешнего мира на эту мою твердыню воспринимается мною как важное событие. "Вот, сволочи, – говорю я себе, получая с утренней почтой очередные счета, – опять на электричество цены повысили". А встретившись с приятелем из далекого прошлого, мы после третьего стакана, конечно, пускаемся в воспоминания о былом, которое предстает нам теперь в роман-

тическом ореоле. Из нашего нынешнего благополучия оно, и действительно, кажется невероятным.

Ну, а после четвертого стакана мы начнем спорить, защищая каждый ту страну, где он теперь живет. Во-первых, потому что мы русские, а русским как же без споров? Во-вторых, потому что эмигрант на этой последней стадии своего превращения становится невероятным патриотом своей новой отчизны, куда большим, чем коренные жители. В-третьих же, потому, что традиционные представления о характере различных народов, навеянные литературой, оказались совсем неверными. И только поживши несколько лет среди этих народов, можно в полной мере оценить нелепость сказок об их национальных характерах.

Удивительно, сколько глупостей наговорили друг про друга и сами про себя соседние народы. Русским ли теперь в этом разбираться?! Труднее всех в этом споре за четвертым стаканом приходится мне, поскольку я побывал практически везде, за исключением Португалии и Люксембурга, ну, пожалуй, еще Мальты, Андорры и Монако. В особенности же чувствую я себя обязанным защищать две страны: Швейцарию, где я впервые увидел Запад и где до сих пор живет моя семья, и Англию, где я сам живу уже более трех лет.

Расхожее мнение о Швейцарии, в основном, упирает на невероятную упорядоченность, чистоту и скуку в этой стране. Ну и, конечно же, благополучие, богатство. Не знаю -- если, конечно, вам нечего делать и вы абсолютно неспособны

себя развлечь, считая, что развлекать вас обязаны другие, если ненадежность поездов и вид грязи на улицах вносит в вашу жизнь существенное разнообразие, тогда, пожалуй, вы будете скучать в Швейцарии. Но нет страны более подходящей для человека занятого, который ценит каждую минуту своего времени. Кстати, и развлечений там ровно столько же, сколько в любой другой стране. Если не больше. Достаточно вспомнить, что тут под одной крышей живут четыре совершенно разных народа. Уже от одного этого не соскучишься, если умеешь приглядываться к жизни вокруг. Вам не нравится, что у них нет забастовок каждый день, взрывов народного гнева и прочих ваших "проблем"? Так они просто разумные люди, не желающие без нужды разорять свою страну. Благополучие их строится еще и на том, что, в отличие от многих других народов, они *работают добросовестно,* а не просто требуют денег у правительства с детской уверенностью, что деньги создаются из воздуха. Вместо пустой надежды изобрести такое хитрое государственное устройство, чтобы никто не работал, а все только ели и развлекались, -- они работают. Не правда ли, удивительно хитрое изобретение для двадцатого столетия, простое и гениальное вместе?

При всем при том они вовсе не безразличны к чужой беде, не черствы, а приветливы и готовы помочь, в чем моя семья убедилась на своем примере. У них прекрасно налажена система благотворительных учреждений, а больничные кассы вполне заменяют социальную медицину.

Только благотворительность они понимают в несколько отсталом для нашего просвещенного века варианте -- как моральную обязанность, а не как юридическую.

Наконец, эта страна, может быть, единственная в свободном мире, ответственно относится к своей безопасности. Вместо того, чтобы рассчитывать на чьи-то "зонтики" или, как страус, зарывать голову в песок, наивно веря, что если, мол, у нас не будет оружия, то и войны не будет, -- они создали одну из самых оснащенных армий в Европе. История научила их, что нейтралитет, если хочешь его признания другими странами, должен быть надежно защищен. Каждый швейцарец определенной возрастной категории проходит каждое лето трехмесячную переподготовку, а каждая швейцарская семья имеет на несколько дней запасов продовольствия. И все это без милитаристской или антивоенной истерии, без детских препирательств о том, где разместить ракеты -- у моего села или у соседнего. По моим наблюдениям, Швейцария -- единственная страна в Европе, которая всерьез намерена себя защищать, и, смею вас уверить, именно поэтому советские никогда туда не сунутся. Какой смысл драться за каждый камень в Альпах, теряя драгоценное время и ресурсы, если какую-нибудь Германию или Италию можно гуляючи пройти без всякой задержки?

Нет, не скуку у вас вызывает Швейцария, а зависть. Ну-ка, устройте и вы так свою жизнь, а потом посмотрим, где веселее.

В известном смысле Англия -- прямая проти-

воположность Швейцарии, и оснований завидовать англичанам почти не придумаешь. Однако, о них нам наврали еще больше, не в последнюю очередь – они же сами. Существует давно установившаяся и всеми уважаемая легенда об англичанах как людях сдержанных, холодных, чопорных, почти лишенных эмоций. Поразительная чушь! Нигде не встречал я людей столь ранимых, эмоциональных, жаждущих общения, как англичане. Беда в том, что они невероятно застенчивы, закомплексованы, ужасно боятся выглядеть навязчивыми -- словом, то, что в психологии называется "интровертами". Нужно быть совсем не наблюдательным, чтобы считать все это чопорностью.

Не знаю, может быть, тот факт, что я русский, а не англичанин, в известном смысле облегчил мое общение; быть может, между собой им общаться труднее. Про русских же все знают, что у них, мол, церемониться не принято, а потому между мной и англичанами как бы не существует барьера условностей, господство которых необычайно сильно в Англии. Они как бы понастроили себе рогаток, о которые все время спотыкаются. В действительности они невероятно разговорчивы, даже болтливы порой, но зато и пользуются языком виртуозно. Не случайно английский язык -- один из самых лексичных в мире. Изучая его в тюрьме по книжкам, я все поражался: зачем столько синонимов? Там, где мы обходимся прилагательными да суффиксами, у них на каждый вариант отдельное слово, что позволяет им быть предельно точными в своих выска-

зываниях. Меткость, остроумие, своеобразие речи ценятся у них необычайно высоко.

Другая, столь же древняя и столь же ложная легенда приписывает англичанам практичность, прагматизм, деловитость, даже педантизм. В России эта чепуха вошла в фольклор, увековечена в знаменитой "Дубинушке":

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать невмочь,
Так затянет родную "Дубину".

На самом деле англичане фантастически непрактичны, а жизнь устроена у них максимально неудобным образом. Великий период английской изобретательности начался и кончился паровой машиной и первыми автомобилями. Не случайно англичане их так любят, устраивают для них бесконечные выставки, музеи и коллекции. Это своеобразная общенациональная ностальгия. Да и вообще нынешняя затаенная мечта англичан -- превратить всю страну в музей, а самим лишь проверять билеты. Ни ломать старое, ни создавать новое они не хотят, в особенности любая модернизация, любые изменения вызывают отчаянное сопротивление. На наших глазах некогда передовая, промышленно развитая страна превращается в отсталую и неразвитую. Причем англичан в целом это как-то мало заботит (или они просто вида не подают?).

Во всяком случае, первое, что поражает иностранца в Англии, -- это невероятная медленность

всего происходящего. Такси, обещавшее прибыть через пять минут, приходит через сорок пять, и шофер ужасно удивляется, если вы негодуете. Поезд может вдруг застрять где-то посреди поля на полдороги и простоять несколько часов, и пассажиры воспринимают это как должное. Ни возмущения, ни нетерпения, ни попытки отыскать какой-нибудь другой транспорт, как будто никто из них никуда не торопится. Как будто им всем абсолютно нечего делать. Чтобы получить по заказу книгу или, скажем, мебель в магазине, нужно ждать месяцами. Да что мебель! Чек, сданный в банк в Кембридже, добирается до Лондона три-четыре дня. За это время вполне можно пешком дойти до Лондона. Даже телефоны в Англии неторопливы, и набирать номер нужно в два раза медленнее, чем на континенте. Словом, это совершенно не деловая страна, на занятых делом людей не рассчитанная.

В сущности, она не рассчитана и на просто работающих людей. Магазины закрываются в пять часов, т.е. ровно тогда, когда люди, по идее, должны кончать работу и идти за покупками. Единственное время, когда работающий человек может купить, скажем, хлеба, -- обеденный перерыв. Разумеется, возникают очереди, толкучка. А ведь нужно еще успеть поесть. Да и не таскать же с собой хлеб (или иную покупку) до конца рабочего дня!

Лет двести назад какой-то шутник придумал ввести в Англии ''Бэнк Холидэй'', т.е. такой день, когда в банках выходной, а потому и все другие не работают -- видимо, из чувства протеста. Чув-

ство это, признаться, легко понять. Уж кому-кому, а банкам здесь я бы вообще выходных не давал: они и в обычные дни работают с десяти до пол-четвертого, т.е. сплошной "Бэнк Холидэй" круглый год. Разумеется, в субботу и воскресенье они закрыты тоже, как и большинство магазинов. Причем, этот чертов бухгалтерский праздник случается, как и всякое стихийное бедствие, совершенно непредсказуемо. Исчисление каждый год, когда именно ему надлежит произойти, так же сложно и загадочно, как исчисление дня еврейской Пасхи, с той лишь разницей, что он шесть раз в году и всегда в самый неподходящий день. В общем, если вы что-то и заработаете в Англии, то лучше держите деньги дома, закопав их в саду, -- из банка их никак потом взять не ухитришься.

Быть может, именно поэтому заработать здесь как-то не рвутся. С трудом преодолевая свой британский патриотизм, должен сознаться, что товаров местного производства я не покупаю с тех самых пор, как впервые увидел рекламу "Buy British!". До этого, будучи человеком рассеянным, я никогда не обращал внимания на происхождение купленных мною вещей. Тут же, стремясь помочь британцам, я стал выбирать только английские товары и был жестоко наказан. Кроме дурного качества и высокой цены, они, как правило, сделаны самым неудобным образом. Скажем, лампочку в лампу не вставишь, не сломав колпака. И спаси вас Бог что-нибудь отдать в ремонт. Все равно потом придется выкидывать – только лишние деньги потратите и нервы.

Характерная деталь: в Кембридже, университетском городе, крупнейший книжный магазин не знает ни типовых программ, ни списков обычно рекомендуемых преподавателями книг, хотя и программы эти, и списки не меняются практически годами. Легче поехать в Лондон и найти нужную книгу там. И так буквально во всем. Единственный кембриджский магазин, торгующий по вечерам, – маленькая итальянская лавочка – всегда полон народа и успешно конкурирует с десятками крупных и мелких английских магазинов, большинство которых на грани банкротства.

Конечно, огромный вред причинил этой стране социализм, много лет упорно вводимый, о чем речь еще впереди. Но только этим всего не объяснишь. Допустим, каждый год британские университеты выпускают тысячи историков, филологов и прочих практически нетрудоустраиваемых людей и каждый год набирают новые тысячи на те же факультеты. Не инженеров, техников или хотя бы просто людей с практическим знанием современного производства, а юристов, историков, латинистов. Большая часть их, конечно, становится безработными, о чем они не могли не знать заранее, меньшая же станет менеджерами на предприятиях или бюрократами. Так почему же они идут терять время и почему бы их сразу не учить чему-либо полезному? И это в стране, где более двух миллионов безработных, а каждый день разоряется добрый десяток фирм (часть именно потому, что управление совершенно неквалифицированное). Словом, как ни пе-

чально, но эта страна производит впечатление медленно тонущего корабля, где и команда, и пассажиры делают вид, что ничего не происходит, желая затонуть с достоинством.

Отчасти такое парадоксальное настроение объясняется типично английским философским отношением к бедствиям и невзгодам. Трудно сказать, что тут первично: врожденное или приобретенное, -- но только англичане склонны к фатализму. Они верят, что беду нужно пересидеть, как дурную погоду. Британские острова -- пожалуй, единственное место в мире, где разговор о погоде не означает отсутствия более животрепещущих тем, поскольку на протяжении многих столетий она продолжает изумлять своими капризами. Но что с ней сделаешь? Типичная английская реакция -- не принимать ее всерьез, игнорировать. С ужасающей регулярностью, например, каждый год в Англии за зиму умирает 15-20 человек от холода в своей собственной постели, однако это никак не может убедить англичан в необходимости хотя бы частичного отопления. Они просто не верят -- вернее, не желают верить -- в возможность серьезных заморозков.

Другая сторона этой философии -- вера в неудобства, в трудности как своего рода моральную гигиену. Мне кажется, в глубине души англичане считают комфорт чем-то постыдным, вроде неприкрытого разврата. Типичный пример тому -- английская кухня, ставшая притчей во языцех. Ну, что, казалось бы, можно сделать с простым куском мяса, чтобы он стал совершен-

но неудобоваримым? Даже я, с нулевым знанием кулинарии, все-таки не могу испортить его до такой степени, чтобы он стал напоминать английскую кухню. И дело здесь не просто в разнице вкусов. Англичане отлично знают цену своей стряпне и, когда хотят действительно доставить себе удовольствие, идут в итальянский, греческий или французский ресторан. Просто в английском понятии еда не должна быть удовольствием, дабы это не привело к распущенности нравов. Для контраста сравните это со сказочным гурманством французов, которые вполне могут проесть получку, как русские -- пропить, тайком от жены, с приятелями.

Будучи биологом, я думаю, что причины английского фатализма скорее врожденные, чем приобретенные. Как ни обманчиво объяснить все погодой, вековой привычкой к трудному климату, "заученной беспомощностью", а все-таки природные реакции гораздо важнее. Грубо говоря, в животном мире известно два типа реакций животного в минуту опасности или трудности. Одна – активная, связанная или с бегством или с агрессией, но всегда направленная на устранение опасной ситуации, изменение ее. Другая -- пассивная, именуемая реакцией застывания: так ежик, подвергшийся нападению лисицы, свернется моментально в клубочек и выставит колючки наружу, а черепаха подожмет конечности, подставив врагу свой панцирь. Точно так же, если русские или итальянцы, оказавшись в финансовом кризисе, припертые обстоятельствами к стенке, постараются приработать (или ук-

расть, на худой конец), англичане же будут экономить буквально на всем, но изменить ситуацию не попытаются. Тем более, работать не станут.

Особенно это заметно сейчас, когда правительство прилагает невероятные усилия, чтобы преодолеть инертность и пассивность населения. Из нынешнего, все нарастающего кризиса Англии не выйти, не изменив своего характера. Нужно шевелиться, искать заработок, норовить приработать где можно, думать о будущем, а не о прошлом. В общем, как говорят русские, "волка ноги кормят". Но где же ежику взять волчьи ноги? Англичане застыли, спрятались каждый в свою скорлупку, а реформы консервативного правительства вызывают у них все большее и большее оцепенение. "Как ты меня, голубушка, ни катай, -- думает ежик, сжавшись в комочек, пока лиса тщится его развернуть, -- а до брюшка не доберешься. Устанешь. Надоест тебе". Он-то знает, что рано или поздно всякой беде приходит конец. Нужно только покрепче сжаться и ждать.

Много еще можно сказать и об английской традиционности, и о психологии островитян, наивно верящих даже в конце XX века, что ни одна беда не сможет переправиться через Английский Канал. Но все это не объяснит нашей непонятной привязанности к Англии. Ведь как ни ворчи на английскую нерасторопность, а только здесь испытываю я необычайный интерес к людям и событиям. В среднем, англичане значительно интеллигентней своих соседей. Они прекрас-

ные актеры и занимательные собеседники. Они своеобразны и умеют ценить своеобразие в других. Это думающий народ. Если американцам можно двадцать раз рассказывать одно и то же и всякий раз они будут слушать с невероятным энтузиазмом, а на следующий день зададут те же самые вопросы, то англичанин, встретив вас случайно на улице через два года, сам напомнит вам тогдашний разговор и добавит все то, что он потом об этом думал.

Англичане не богаты, скорее бедны, однако необычайно отзывчивы на чужое горе. С поразительной готовностью собирают они деньги на самые различные нужды, будь то в своей стране или в самом отдаленном уголке мира. Благотворительность для них не привычка, не просто дань традиции или религии, а почти потребность. Вместе с тем это и не просто стремление облегчить совесть, безразборчиво давая деньги на что попало. Англичанин должен сначала убедиться, что дело действительно нужное, почувствовать себя "вовлеченным", причастным. Я знаю, например, человека, который, услышав о бедствиях вьетнамских беженцев, продал свой дом и посвятил себя целиком организации их спасения. Поразительно, что в таких случаях англичане как бы перерождаются: становятся практичными, эффективными и расторопными, словно пробуждаясь от летаргического сна. Быть может, в повседневной жизни им просто не хватает "дела, которому стоит служить"?

Это вот стремление следовать раз выбранному принципу, чего бы то ни стоило, пожалуй, род-

нит меня с англичанами больше всего. Англичанин, если дело касается его принципов, не побоится ни тягот, ни лишений, ни, что гораздо важнее, оказаться в смешном положении, выглядеть чудаком. Семидесятилетний старик пятый раз сознательно идет в тюрьму, принципиально отказываясь носить мотоциклетный шлем.

-- Не кажется ли вам, что это чуть-чуть слишком: пятый раз в тюрьму из-за какого-то шлема, да еще в вашем возрасте! -- спрашивает его интервьюер телевидения.

-- Но ведь это ограничение моей свободы выбора, -- отвечает старик. Какое право имеет парламент решить за меня, какой смертью мне умирать?

Такой случай, может быть, мог произойти и в другой стране. Но в Англии это не вызовет ни смеха, ни удивления, а скорее понимание и сочувствие. "Он глубоко это чувствует", -- скажут в Англии. И это для них все оправдывает.

Когда же происходит что-то задевающее принципы многих, что-то действительно возмутительное, англичане просто великолепны. Именно в таких случаях ощущаешь вдруг мощь этого народа, и остается только низко поклониться. Одна наша хорошая знакомая, врач-психиатр, принуждена была эмигрировать из СССР, не желая служить орудием политических расправ. Однако ее десятилетнего сынишку власти не выпустили, намереваясь пользоваться им как рычагом давления на мать. Более четырех лет вся Англия воевала за этого парня. Газеты отводили место для сообщений с этого фронта, радио

и телевидение считали своим долгом регулярно, вновь и вновь повторять историю. Какие-то пожилые люди мерзли у ворот советского посольства с плакатами и петициями. Каждый день его рожденья в разных городах страны праздновался прямо на улице: для новорожденного пекли торт и раздавали прохожим. Чувство негодования было столь всеобщим, а решимость добиться справедливости настолько безгранична, что советские в конце концов, ко всеобщему ликованию, капитулировали. Скажите, какая еще страна будет столь упорно воевать за эмигранта? Где еще в наше циничное время найдешь людей, позволяющих себе роскошь иметь принципы и следовать им?

...Словом, возвращаясь очередной раз к себе в Кембридж из поездки, я чувствую, что возвращаюсь домой. Сам я могу сколько угодно ворчать на непрактичность и медлительность здешней жизни, но уж другим в своем присутствии этого позволить не могу. Сам я могу смеяться и язвить, но с "иностранцами" буду спорить. Странно, правда? Наверно, я здесь родился в одну из своих прошлых жизней...

* * *

Но если много глупостей насочиняли про англичан и швейцарцев, про итальянцев и немцев, то уж про русских наврали невпроворот. Оттого-то все споры эмигрантов после пятого стакана неизбежно возвращаются к одной и той же теме: в чем же наше отличие, наша вина? Что же такое неуловимое делает их здесь свободными, а нас

там всех – от Брежнева до последнего зека – рабами?

Я не имею сейчас в виду отличий внешних, известных многим и как бы лежащих на поверхности. Кто же сейчас не знает, что у нас жестокая диктатура единственной партии, своей сетью пронизывающей все общество, а всесильное, всеведущее КГБ завершает почти буквальное сходство с орвелловским "1984"? Тоталитаризм по определению – предельная концентрация в одних руках всех видов власти: политической, административной, экономической, военной, духовной. Но этого знания мало. Неизбежно возникнет вопрос: как же такой монстр еще существует в конце XX века? На чем он держится? Не заслуживает ли всякий народ того правительства, которое он имеет? Может, есть в нас самих какие-то качества особые, делающие его существование возможным, а то и оправданным, – качества, которых нет у более цивилизованных народов?

Существует много прописных истин, клише, при помощи которых все как бы прекрасно объясняется. Но приглядишься – и нет этих рецептов. Как в том анекдоте про столетнего деда, к которому пришли из института геронтологии, чтобы узнать секрет его долголетия:

– А все дело в воздержании, – говорит наставительно дед, – я вот всю жизнь не пью, не курю, с женским полом не связываюсь...

Тут за стенкой, в соседней комнате раздается грохот, ругань и женский визг.

– Что это? – удивляются геронтологи.

-- Да вы не обращайте внимания, -- успокаивает их дед смущенно. -- Это мой старший брат домой вернулся. Такой непутевый: всю жизнь курит, пьет и дебоширит.

Принято, например, считать, что на Западе люди добрее, терпимее. Что ж, спору нет, добрых людей здесь много. Советские сказки о холодном, эгоистичном мире капитализма так же далеки от реальности, как и россказни об умирающих с голоду безработных. Отзывчивость к чужому горю, готовность помочь -- черта чисто человеческая, от системы управления не зависящая. Но как сравнить? Скажем, у нас семья из пяти человек ютится в одной комнатенке, а парализованную бабушку все-таки не отдадут в старческий дом. Стыдно будет друг другу в глаза глянуть. Здесь же это почти правило. В лучшем случае, оставляют стариков одних доживать свой век, сами же переберутся куда-нибудь еще. Открытку на Рождество, на Пасху, ну и заедут как-нибудь раз в несколько лет. Конечно, и у нас такое может случиться, да только это все заметят. Скажут: ага, на этого человека в беде полагаться не стоит.

Наверно, в том и вся разница: беды у нас много, большинство людей знает, что это такое. А потому больше таких, кто отдаст последнюю рубашку. Здесь же чаще получается, что своя все-таки ближе к телу.

В быту здесь, пожалуй, больше терпимости у людей -- вернее, меньше раздраженности. У нас, скажем, ошибешься телефоном -- облают скорей всего, на ногу наступишь -- тоже. Хамство

в сфере обслуживания легендарное. Здесь же за один день услышишь (и сам скажешь) "спасибо", "извините" и пр. больше, чем за всю жизнь в Москве. Бесконечные очереди и постоянные неприятности, безысходная, беспросветная жизнь -- наполняют человека таким зарядом злобы, что тронь его только -- взорвется. Отсюда же наша заученная грубость, напористость. Ведь пока продавца в магазине не облаешь -- не услышит. Мягкий, вежливый человек у нас просто не выживет. Отсюда же, пожалуй, и агрессивность.

В Кембридже практически в каждом колледже есть свое "диско", да еще несколько в самом городе. При этом спиртное продается до закрытия, т.е. часов до двух-трех ночи, тут же в баре, но за три года я ни разу не слышал о сколько-нибудь серьезной драке. Во всяком случае, убит или искалечен еще никто не был. А когда местные ребята побили на улице одного студента поздно ночью, об этом сообщили по всем колледжам как о чрезвычайном происшествии. Представить себе такое в Советском Союзе, где на любую, самую захудалую танцульку парни, как правило, идут с ножами, просто невозможно. И это притом, что спиртное по вечерам вообще нигде не продается, кроме ресторанов, а само ношение холодного оружия карается лишением свободы до одного года. Тем не менее, если за месяц никого не убьют или не порежут, то это просто чудо. О простых драках я уж и не говорю. Вражда между "местными" и "чужаками" достигает иногда пропорций настоящей войны.

Конечно, дело здесь не только в раздраженности или нетерпимости и, безусловно, не во врожденной агрессивности. При отсутствии какой бы то ни было общественной жизни в стране или реальных перспектив в жизни -- что еще делать этим подросткам? Хулиганство становится единственно доступным для них средством самовыражения, средством коммуникации, если хотите. Это их субкультура. У интеллигенции -- самиздат и движение за права человека, а КГБ -- символ власти. У рабочей молодежи -- уголовщина, а милиция олицетворяет государство. Аналогичное явление можно наблюдать в некоторых трущобных районах Запада. Разница лишь в том, что весь Советский Союз -- одна большая трущоба, за исключением лишь небольших "образцово-показательных", "очищенных" участков страны, куда пускают иностранцев.

Психологи считают фрустрацию наиболее распространенной причиной агрессивности, в особенности фрустрацию сексуальную. В нашем обществе официального ханжества и лицемерия дело не ограничивается одним запретом на порнографию, но и вообще секс, особенно у подростков, как бы вне закона. А при таких ужасающих жилищных условиях, в которых живет средняя советская семья, зачастую ютясь в одной комнате, практических шансов и того меньше. Отсюда необычайная распространенность групповых изнасилований шайками подростков в парках, подъездах, а то и во дворах. На Западе же я что-то почти не слышу о таком виде преступления.

Словом, несмотря на чрезвычайно высокую преступность (в среднем за все годы существования советской власти у нас никогда не было меньше 2,5-3 млн. заключенных, т.е. примерно 1% населения страны), нельзя сказать, чтобы мы были более агрессивны по своей природе, поскольку причины этой преступности, в основном, социальные. Скажем, в США, где социальные условия несравненно благоприятней, а преступность значительно ниже (примерно 400 тыс. заключенных), число убийств, совершаемых в год, все-таки больше, чем у нас. В то же время преступность среди американцев восточноевропейского происхождения гораздо ниже средней по стране.

Однажды в Нью-Йорке я стоял в очереди на такси, как вдруг пошел сильный дождь. Моментально вся очередь превратилась в клубок дерущихся людей. Подходившие машины брали с боя, причем хуже всех были женщины. С истеричным воплем они кидались в самую кучу, распихивая всех. Ситуация была как на тонущем корабле, и только полиция смогла восстановить относительный порядок. Подобные эпизоды я наблюдал несколько раз в Америке. Конечно, трудно обобщать по таким сценкам, однако у нас, при всей жуткой загруженности городского транспорта, такого все же не увидишь со времен Второй мировой войны. Давка, конечно, бывает жуткая, виснут на подножках, ругаются, но все-таки какое-то подобие очереди неизменно соблюдается. Тем более, нет у нас этой специфически женской агрессивности, весьма типичной для Америки.

В связи с вопросами преступности и терпимости чрезвычайно любопытно сравнить отношение к преступникам со стороны общества и правительства. Как-то, включив телевизор, я услышал совершенно невероятное сообщение. Министр внутренних дел Англии (который, кстати, здесь считается страшным "реакционером") объявил, что поскольку тюрьмы переполнены, то нужно меньше сажать и больше отпускать досрочно. Всего по стране в этот момент было около 45 тыс. заключенных, т.е. 0,08% населения. А кроме того, сказал он, содержание одного заключенного в день обходится в 200 фунтов, и это слишком дорого для казны.

-- Бог мой, -- подумал я, -- ведь это же мне все снится, этого не может быть в действительности. Сейчас надзиратель застучит в дверь ключом и заорет: "Па-а-адъем!" Я расскажу ребятам в камере свой сон, а они будут хохотать: "Чего придумал, надо же! Места мало... дорого стоит... Приснится же такое!".

У нас ведь тюрьмы резиновые: где при царе сидело двое, сейчас -- по меньшей мере, пятеро. Да и что за проблема -- тюрьмы переполнены! Согнать зеков под конвоем, оцепить и -- чтоб в две недели лагерь был готов. Колючей проволоки, что ли, не хватает в стране?

Слыханное ли дело -- 200 фунтов в день! Да все Политбюро коллективно повесилось бы на кремлевской стене от такого оскорбления. Зек должен доход приносить, обогащать народное хозяйство. За двести фунтов любой надзиратель сам себя в карцер запрет и выходить откажется.

Вот так реакционный министр!

С другой стороны, отношение общества значительно жестче, чем у нас. Смертная казнь существует всего в нескольких странах: во Франции, в некоторых штатах США -- и применяется неохотно. В Англии она отменена, однако до сих пор существует довольно сильное движение за ее восстановление. Здесь вообще верят в наказание. Даже телесное наказание в школах формально не отменено, хоть и редко применяется. Но любопытно, что среди родителей популярны те школы, где оно применяется чаще. Значительно больше желающих отдать туда детей -- такие школы обычно процветают финансово.

У нас смертная казнь применяется за добрый десяток преступлений, в том числе и не насильственных, таких, как взятки, крупные хищения, "измена родине", "дезорганизация работы исправительно-трудовых учреждений" и т.п. Жестокость карательной машины доходила временами до откровенного террора населения, однако мы знаем, что даже это не уменьшило преступности.

Умудренные нашим горьким опытом, мы понимаем, что наказание абсурдно с точки зрения психологии человека. Если преступник не чувствует себя виновным, наказание превращается в простую пытку: если чувствует -- то он уже наказан больше, чем это может сделать государство. Люди -- не павловские собаки, их сознание не формируется рефлексами. Человек не поддается дрессировке -- он хитрит, лицемерит, вырабатывает защитные реакции, но все это мало

трогает его сущность. Короче говоря, наказание способно лишь развратить человека, озлобить его или сломать.

Можно оправдать желание общества оградить себя от людей, не считающихся с правами себе подобных, т.е. изолировать таких людей, лишить их возможности совершать преступления. Но месть общества преступнику столь же безобразна, как и само преступление.

Характерно в этом смысле дело Джимми Бойла, отбывающего пожизненное заключение в Шотландии. Он родился и вырос в одном из трущобных районов Глазго, где преступление было более или менее нормой. Я не сторонник той точки зрения, что нищета непременно делает из людей преступников. Россказни сентиментальных писателей типа Гюго о человеке, что украл от голоду булку хлеба, а потом стал закоренелым разбойником, – чистейший вздор. Только люди, напрочь не понимающие психологии преступления, могут в это верить. Преступники – люди чрезвычайно честолюбивые. Такие люди не станут дожидаться голода, а тот, кто дотерпел до голода, так и будет хлеб воровать. Выше его амбиции не поднимутся. Преступный мир – это своеобразная субкультура, где есть свои герои и свои подонки. Чтобы добраться до верха в этом мире, нужно обладать незаурядными достоинствами, причем эти достоинства вовсе не обязательно дурные с точки зрения общечеловеческой. Но у того, кто родился в трущобах, безусловно, больше шансов стать преступником. Психология таких мест, безусловно, ближе к психологии преступного мира. Для сильных, честолюбивых характеров такая "карьера" очень вероятна.

Словом, в 60-е годы Джимми Бойл был одним из наиболее знаменитых гангстеров в Шотландии.

Приговоренный за убийство к пожизненному заключению, он и в тюрьме не смирился. Началась цепь бесконечных конфликтов с администрацией, взаимных жестокостей и наказаний. В результате он много месяцев провел в одиночке, дойдя до состояния дикого животного, а к его пожизненному сроку добавили еще 25 лет. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы властям не пришло в голову провести своего рода эксперимент – открыть в тюрьме Барлинни в Глазго "специальное подразделение" (special unit), куда собрать таких вот неисправимых. Суть эксперимента была проста – оставить этих людей в покое, предоставив им некое самоуправление, мягкие условия содержания, книги, радио, телевидение и средства самовыражения.

Разумеется, первая реакция подопытных была настороженной, подозрительной. Эксперимент воспринимался ими как новая ловушка. Но шли месяцы, и ничего не происходило. Постепенно каждый нашел себе какое-нибудь занятие: кто рисовал, кто мастерил. Джимми стал лепить, делать скульптуры. Много читал. Надзиратели мало вмешивались в его жизнь.

То, что произошло дальше, меня совсем не удивляет. Мне приходилось наблюдать не раз, что предоставленные самим себе, где-нибудь в тюрьме с неплохой библиотекой, даже самые закоренелые бандиты начинают переосмысливать прошлое. Срок впереди большой, торопиться некуда, возраст уже не юношеский, а жизни так и не было. Естественный вопрос – в чем причина? Читая книги, поначалу больше от скуки, он, может быть, первый раз в жизни начинает осознавать, что его уголовный мирок, где он был князем, на самом деле всего лишь крошечная часть огромного мира. Причем, мира гораздо более интересного, в котором и ему есть где применить свои силы. Люди в этом большом мире попадаются куда более яркие, чем его напарники по грабежам или

надзиратели, а моральные ценности и этические нормы его мирка там не применимы. Словом, наступает кризис его субкультуры.

Джимми стал скульптором, написал книгу о своей жизни, стал известен уже не только своими похождениями. Наконец, женился. Но тут уж настала очередь общества мстить. После тринадцати лет в заключении, из которых почти семь – в "специальном подразделении", вполне мирно, без конфликтов с администрацией, власти вполне могли освободить его досрочно, если бы не яростное сопротивление общества. Образовалась целая кампания против его освобождения, доказывающая, что он просто всех обманывает, "прикидывается" изменившимся. Конечно же, одновременно эта кампания ведется и против "специального подразделения" как такового. Как можно: телевизоры, книги – преступникам, когда и на воле-то телевизор не каждый себе позволить может? Что же это за тюрьма? Курорт какой-то. Где же наказание? Ну, и пошло, и поехало. Несколько раз "специальное подразделение" было уже на грани закрытия. Даже мне пришлось однажды за него публично вступиться. Наконец, от греха подальше, чтобы успокоить страсти, перевели Джимми в другую тюрьму, якобы "подготавливать к освобождению". Пока что "специальное подразделение" не закрыли, но надолго ли?

Вот вам и терпимость демократического общества. Политической терпимости и того меньше. Достаточно вспомнить все эти "красные бригады", "красные армии", вечные драки между "левыми" и "правыми", взаимные обвинения партий, отчаянную травлю в печати, "демонизацию" противника. У нас, по крайней мере, политическая нетерпимость искусственная, продиктована сверху. Энтузиазма не вызывает.

Однажды во Владимирской тюрьме заспорили мы, что следует сделать с нашими партийными вождями, какой они заслуживают казни. Из одиннадцати человек в камере лишь один высказался за смертную казнь, один предложил публичную порку да еще один высказался в пользу заключения, где бы их заставили слушать их собственную пропаганду 24 часа в сутки. Остальные склонялись к формальному публичному осуждению их преступной политики без каких-либо персональных наказаний. Ни палачом, ни надзирателем, однако, никто из одиннадцати быть не захотел.

Конечно, трудно предсказать, каков был бы результат опроса всего населения. Известно только, что в СССР поразительно мало террористических попыток.

* * *

Еще одна иллюзия, возникшая и распространившаяся с легкой руки нашего же правозащитного движения, -- вера в особое правосознание западного человека. Наша центральная идея сводилась к тому, что демократия строится на осознании каждым членом общества себя самого гражданином, "субъектом права", как изящно выражался Алик Вольпин. Отсюда вытекала и вся наша концепция "суверенитета человеческой совести", личной ответственности и, следовательно, пассивности и молчания как формы соучастия в совершающемся на твоих глазах преступлении. Мы искренне верили, что на Западе каждый человек -- носитель демократии с

высоким уровнем осознания пределов своего права. У нас же это все только в зачатке. Оттого-то нам прежде всего нужно бороться с "советским человеком", точнее -- с его пещерным уровнем правосознания.

Я и сейчас уверен, что это единственно возможный путь к демократии от тоталитарного произвола. Однако, наши догадки о Западе в этом отношении оказались весьма далеки от действительности. Не знаю, быть может, при установлении демократии люди здесь были другими, а впоследствии естественный отбор смел их с лица земли, но уровень правосознания западного человека в среднем не слишком отличается от советского.

К чести своей должен сказать, что некоторые сомнения стали закрадываться у меня еще в Москве. Как-то так все время получалось, что иностранцы, арестовывающиеся КГБ по нашим делам, кололись гораздо чаще и быстрее, чем советские граждане. Конечно, испугаться может всякий, тем более оказавшись в незнакомой стране с весьма дурной репутацией, в руках тайной полиции с репутацией еще того хуже. Но ведь правосознание вроде бы от географического положения субъекта зависеть не должно, а Декларация Прав Человека одна на весь мир. К тому же, речь не идет о случайно, с перепугу выболтанной информации. Нет, я имею в виду полное признание вины, подтвержденное письменно, повторенное на очных ставках, в суде и даже иногда по московскому телевидению. Допустим, пойманный при ввозе (или вывозе) "запрещен-

ной" литературы иностранец не только рассказывает, кто ему эту литературу дал да кому он ее должен предоставить, но признает, что совершал таким образом преступление против СССР (агитация с целью подрыва или ослабления советской власти). За редким исключением, никто из них не вспоминает ни Пактов о Правах Человека, ни Хельсинкских Соглашений. Причем трюк, на котором КГБ почти безошибочно ловит таких иностранцев, и еще того смешней.

-- Как же вы утверждаете, что не осознавали преступность своих действий, -- говорит какой-нибудь полуграмотный майор, -- а сами конспирировались, прятались? Старались, чтобы вас не заметили...

И, посовещавшись со своим правосознанием, примерно 95 из 100 соглашаются.Казалось бы, и обширных юридических познаний не нужно, чтобы сообразить: любая домохозяйка прячет деньги от воров и запирает на ночь дверь на замок, не совершая при этом никакого преступления. Для человека, уверенного в своей правоте, выросшего с детства в сознании своего права, и тени сомнений не должно возникнуть. Как же так легко усваивают они советские нормы, едва ступив на нашу почву?

Живя в Советском Союзе, всегда стараешься найти разумное объяснение событиям на Западе, каким-то разрозненным фактам западной жизни, до нас доходящим. В крайнем случае, списываешь всякие несоответствия на неполноту информации. Сообщения о том, с какой готовностью законно избранные правительства

исполняют прихоти террористов, захвативших заложников, всегда повергали нас в глубокое недоумение. Может, мы чего недопонимаем? Ведь по идее даже в переговоры вступать правительство не вправе в таких случаях, потому что возводит этим бандитов в ранг равной стороны. Зачем же тогда проводить всеобщие выборы, если волей всей нации распоряжается любой вооруженный маньяк? Власть же в данном случае не какой-нибудь предмет, который можно временно передать соседу: ”Подержите, пожалуйста, я сейчас вернусь”.

Но, поживши на Западе и увидев хотя бы отношение к выборам у избирателей, ничему больше не удивляешься. Почти половина их вообще на выборы не ходит -- им безразлично. Какая-то часть идет по партийной обязанности, почти как в СССР. Остальные голосуют не за то, во что верят, а против того, чего боятся. За ”правых”, чтоб не пришли к власти ”левые”; за ”левых”, чтоб не пришли к власти ”правые”. Ну, а за маленькие партии что ж голосовать, у них все равно нет шансов прийти к власти. Предвыборные манифесты читают разве что только англичане. И это -- ответственное решение гражданина демократической страны, избирающего свое правительство, своих представителей?

Забавно, однако, что при этом все недовольны бесцветностью своих политиков, отсутствием у них каких-либо принципов или концепций, а часто и просто отсутствием серьезного выбора. И действительно, за исключением Садата, Папы Римского да Маргарет Тэтчер профессиональный

уровень здешних политиков пугающе низкий. Во Франции большинство моих знакомых голосовать не ходят -- нет смысла. Несмотря на обилие политических партий, существующих более всего для собственной забавы, практически есть лишь две реальные силы, и обе объективно просоветские. Для одной -- самый большой враг в мире почему-то США (видимо, по принципу басни Крылова: для мышей "страшнее кошки зверя нет"). "Величие Франции", по их мнению, состоит в том, чтобы всегда поступать наперекор интересам демократического мира, благо этот мир не собирается их оккупировать и ссылать в Сибирь. Для другой самый большой друг на земле -- Советский Союз. При этом, насколько я могу судить по печати и своим довольно многочисленным выступлениям во Франции, население настроено отнюдь не просоветски, т.е. разрыв между желанием избирателей и политикой, проводимой выбранным ими правительством, колоссальный. Эти две вещи существуют как бы независимо друг от друга.

Избиратель разочарован -- что толку ходить на выборы? Все равно ничего не переменится. Но позвольте -- не вы ли такое положение создали, выбирая по принципу наименьшего из двух возможных зол? Разве у вас нет права (и ответственности, добавлю я) гражданина своей страны обеспечить правительство, соответствующее вашим верованиям? Ответ, который я обычно слышу на этот вопрос, пугает меня своим сходством с рассуждениями советского человека: "А что я могу сделать один? Что может сделать

даже маленькая группа людей? Большинство ведь все равно поступит по-старому".

Другой пример западного правосознания еще разительней. Я имею в виду попытку решать законодательно проблему абортов. Безусловно, вопрос этот необычайно сложен, и Боже меня избави обсуждать его сейчас по существу. С обеих сторон накопилось столько эмоций, что глаза выцарапают. Но одно дело спорить, взывать к чувствам, верованиям, разуму или совести, другое дело ставить этот вопрос на голосование. Получается такая же бессмыслица, как если бы мы решали голосованием вопрос: есть Бог или нету, а результат издали бы в виде закона. Между тем одна из старейших европейских демократий -- Швейцария -- именно так и поступила, проведя референдум. Результат: 80% против абортов, 20% за -- годится разве что для размышлений, но никак не для занесения в скрижали закона. Ведь если 80% населения не хочет делать абортов, так их никто и не заставляет и заставить не может, каков бы ни был результат опроса. Однако какое же они имеют право решать за тех, кто хочет? Принуждать кого-то принимать насильно их верования и нравственные решения? Этот вопрос можно решать только за себя, но не за своего соседа.

Боюсь, что представление о праве здесь еще примитивней, чем у советского человека. Допустим, что в Конституции США записано "право на стремление к счастью". Что это должно означать, представить себе трудно. Счастье, как известно, всего лишь мимолетное психическое со-

стояние, причем некоторые люди органически к нему не способны. Зато есть довольно много людей, у которых такое "стремление" неизбежно приведет к конфликту с законом. Допустим, кто-то обретет счастье, лишь убив свою жену. Считать это его правом?

Забавно, но именно в США, и никто иной, как наш главный законник Алик Вольпин, имел случай убедиться в здешнем безразличии к закону. Поселившись в Бостоне, он, как и следовало ожидать, первым делом стал изучать местные законы. И вдруг, к своему величайшему изумлению, обнаружил, что по законам штата Массачусетс "лицо, состоящее в браке, не должно иметь половых сношений с иным лицом". Привыкши читать и трактовать законы аккуратно, с той точки зрения, как они могут быть использованы против него, Алик пришел в ужас от такой формулировки. Мало того, что "иным лицом" в данном случае вполне может быть и законная супруга (иное лицо по отношению к кому? К самому себе, разумеется. Такое толкование вполне допустимо). Но, что было более существенно в положении Алика, уезжая из Москвы, он не развелся со своей женой и формально все еще был "лицом, состоящим в браке".

Напрасно друзья уговаривали его, что данный закон уже давно не применялся и, хоть формально считается еще действующим, фактически никто в штате Массачусетс о его существовании не слыхал. Незнание закона, помнил Алик, не является смягчающим вину обстоятельством. Сложность же состояла в том, что через пять лет он

собирался получить американское гражданство, а при этой торжественной процедуре обязательно спрашивают, не нарушал ли будущий гражданин каких-либо законов на территории США. Страдая всю жизнь от "патологической правдивости", Алик даже и не помышлял о возможности сокрытия от властей своей преступной деятельности. Посмотрев законы других штатов, он обнаружил, что аналогичное положение есть почти во всех, кроме, кажется, Луизианы и Арканзаса, что довольно далеко от Бостона. Не знаю, как бы он выходил из положения, -- пять лет все же срок весьма долгий, -- выручило близкое соседство Канады.

Вся эта история звучит, как анекдот, однако, в самом деле, почему человек должен лгать, чтобы стать гражданином США? Не из-за того ли и уехало большинство советских эмигрантов, что им надоело врать каждый день? И еще вопрос, существенный в контексте наших рассуждений о правосознании западного человека: почему же никто не обратил внимания на этот нелепый закон до Алика?

Увы, американцы не только не читают своих законов, но и считают такое положение нормальным. Единственное действительно широко известное право -- это право молчать до прибытия вашего юриста, если вы попали в "неприятность". Не густо. Что властям лучше ничего не говорить поелику возможно -- и у нас знают. Только вот юриста у нас к делу не допустят до конца следствия, когда уже поздно что-либо исправить. Словом, правами мы не избалованы и закон це-

ним немного больше, поскольку существует он только на бумаге. Нужно долго жить в бесправии, чтобы научиться ценить его.

* * *

Но, быть может, наши представления о демократии были просто неверны, искусственны и абстрактны, быть может, ни особой терпимости, ни четкого правосознания им здесь вовсе не нужно? Напротив, демократия есть постоянная борьба различных сил, групп, фракций, тенденций и течений, в процессе которой правовые нормы и отношения постоянно пересматриваются, меняются. Зачем их и знать тогда, если они лишь некий временный компромисс, некое динамическое равновесие, а единственным постоянным фактором является сама эта борьба?

Что ж, пожалуй в этом есть большая доля истины. Право бороться за свои интересы, свои принципы -- наиболее существенная сторона демократии. Несправедливость, угнетение могут случиться в любом обществе, но только при демократии никто не может помешать вам с ними бороться. Пишите воззвания, расклеивайте листовки, устраивайте демонстрации, ищите единомышленников (и вы их найдете), обращайтесь в прессу (и она выделит вам место, хотя бы потому что ее интересуют новинки), обращайтесь к знаменитым людям (и один из десяти вас поддержит), наседайте на политиков (и хоть один да включится в вашу кампанию, потому что ему нужны голоса избирателей). Весь механизм демократии оказывается на вашей стороне,

помогает вам, более того, подталкивает вас шуметь и требовать. В сущности, какую бы бредовую идею вы не отстаивали, какое бы нелепое требование ни выдвигали -- результат будет примерно тот же.

Механизм демократии нейтрален, он не может работать избирательно. Для него важны лишь два обстоятельства: что у вас есть *проблема* и что вы *требуете.* Чем неразумней, скандальней ваши действия, тем лучше, а если походя вы нарушили закон – и совсем хорошо. Пусть юристы затем разбираются, кто прав, а кто виноват, -- это уже их дело. При существующих настроениях во всем и всегда виновато общество, которое это тут же и признает. Ваша проблема становится общенациональной, а то и международной. Теперь с вами вообще ничего поделать нельзя -- только удовлетворить ваше требование, потому что вы под защитой всемогущей *паблисити.* У вас масса сторонников и подражателей, а ваши идеи в общем приняты обществом. Лишь немногие "ретрограды" все еще пытаются сопротивляться, но ваши сторонники их быстро задавят, затравят и обратят в гонимых. Последние могут, конечно, вернуть свои позиции, если они столь же энергичны и предприимчивы, т.е. проделав ту же кампанию.

Что ж, если вы принимаете демократию как таковую, то вы должны принять и ее эксцессы, поскольку не может при ней существовать верховный мудрец, определяющий, что крайность, а что нет. Но вот беда – чем дальше, тем громче надо кричать, чтоб тебя услышали, а кто не тре-

бует, тот вообще ничего не получает. А требовать приходится фактически друг у друга, ибо что же такое общество, как не мы сами?

Ни демонстрации, ни петиции уже не действуют – их десятки тысяч, а потому энергичное "угнетенное" меньшинство должно прибегать к более эффективным приемам, например, захвату заложников или взрыву бомб в пивных.

Я знаю, есть еще много "ретроградов", которые поморщатся при слове "заложники", а ведь этот метод уже давно стал вполне респектабельным. Практикуют его не какие-нибудь экстремисты – вполне почтенные профсоюзы держат заложниками, например, детей в английских госпиталях или десятки тысяч таких же рабочих, поехавших в отпуск во Францию. Да ведь если разобраться, почти любая крупная забастовка в наше время – это все тот же метод заложников. Путешественнику безразлично, захватили его самолет террористы или его держат бастующие воздушные контролеры: и те, и другие вымогают деньги у кого-то, с кем он не имеет чести быть знакомым.

Поразительно, не правда ли, как легко "угнетенные" превращаются в "угнетателей"? Эксплуатируемые – в эксплуататоров? Как-то Арт Бухвальд написал весьма занятный фельетон о том, что при нынешних системах поощрений в промышленности труднее всего найти место белому, молодому, здоровому мужчине, не имеющему судимости или прошлых "неприятностей" с наркотиками. Никакой премии от правительства за наем такого рабочего предприниматель не по-

лучит. И это не только шутка – уже есть судебные дела о дискриминации белых. Ну, а профсоюзы? Еще вчера право на их создание надо было завоевывать, сегодня же они выгоняют с работы тех, кто не хочет к ним вступать. Только-только завоевали право на забастовку – и уже тысячи рабочих в Англии жалуются своим членам парламента, что без тайного голосования они боятся выступить против очередной забастовки. О терроре политических меньшинств и добавить нечего – он вполне откровенный, часто сознательно нацеленный на уничтожение демократии.

Погодите минуточку. Это уже звучит как-то подозрительно знакомо – террор меньшинства против большинства, цензура, принудительное вступление в профсоюзы, а заодно и в политические организации (голоса членов профсоюза автоматически поступают в актив соцпартии, например, в Англии и Швеции). Да ведь это наш славный Советский Союз во всей своей красе и силе. Только террористическое меньшинство захватило у нас власть в момент кризиса, а дальше – террор в масштабах страны, запуганное "молчаливое большинство", слабое, дезорганизованное сопротивление армии и опять террор. А тут еще и страна большая, да коммуникации прерваны – в одном конце не знают, что происходит в другом; разруха, голод, мятежи, грабежи – словом, полная неразбериха, при которой крутые меры центральной власти и на Западе сочтут оправданными. В общем, я убежден, что ни одна европейская демократия не пережила бы тако-

го кризиса, какой возник в России в конце Первой мировой войны.

— Но позвольте, — скажет ученый историк, — вы забываете традиции, культуру.... На Западе демократия существует сотни лет, а в России ее никогда не было.

Нет области интеллектуальных занятий более бесполезной, а то и вредной, чем история, для решения затронутых вопросов. Исторических концепций столько же, сколько историков, а вернее — столько, сколько требуется различным идеологиям для их обоснования. История — лишь огромное количество разрозненных фактов, которые при желании можно подтасовать под любую концепцию. Задним умом всякий крепок. Возникнет завтра тоталитарный режим во Франции — тут же историки все нам объяснят про французские плохие традиции. Вспомнят и Конвент с его гильотиной, и Наполеона, и Парижскую коммуну. В сущности, и демократия там возникла не так уж давно, и стабильной она практически никогда не была. Уже на нашей памяти, если бы генерал де Голль ее не ограничил, то, может, демократии у них уже и не было бы.

Словом, как на каждого человека можно написать некролог еще при жизни, так для каждой страны можно составить вполне убедительное историческое образование возникновения там тоталитаризма. Да, по сути дела, кроме разве что Англии, Голландии, Швейцарии и Скандинавии, где еще была демократия несколько столетий без перерыва? В Америке? Так там

рабство отменили на два года позже, чем в России крепостное право. Притом у нас хоть отменили мирно, првительственным решением, в Америке же из-за этого несколько лет длилась гражданская война, почти полстраны было против.

С другой стороны, вот возникли молодые демократии без великих "традиций", скажем, в Японии или Германии и существуют уже более 30 лет. Вторая половина той же самой Германии – рядышком, только колючую проволоку перелезть, так и осталась фашистской, лишь цвет сменила.

Мне кажется, мы склонны переоценивать значение традиций. Какое, скажем, влияние на формирование наших взглядов может иметь вера старшего поколения? Скорее, негативное, поскольку новые поколения склонны скорее бунтовать, отталкиваться от верований своих отцов. Например, после всего, что я слышал о движении западной молодежи в 60-е годы, обо всех этих хиппи, битниках и пр., я был поражен скорее консервативным видом и настроениями теперешних студентов. Разговорившись как-то с одним пареньком у себя в колледже, выглядевшим особенно чопорно, аккуратно, одетым всегда, кроме костюма с галстуком, еще и в жилетку с цепочкой для часов, я вдруг понял, что он глубоко травмирован образом жизни своих родителей. Рассказывая об их появлении на выпускной церемонии у себя в школе, он весьма комично описывал, как прятался от этой странной пары в рваных джинсах и с нечесанными волосами, делая вид, что никакого отношения к ним не име-

ет. Выглядели они так, как если бы собирались подканать к нему и, небрежно хлопнув по плечу, предложить:

– Ну, что, старик, курнешь с нами травки?

Нечто подобное, только, может, в меньших пропорциях, произошло со всем этим поколением. В целом студенты сейчас максимально аполитичны и всерьез заняты учебой, что для западных университетов почти невероятно.

Думаю, каждое новое поколение подвергает традиции пересмотру. Единственным пределом в этой диалектике может быть разве что национальный характер, если это выражение что-нибудь еще значит в наше время. Но и с этой стороны восточноевропейцы – не более подходящий материал для тоталитаризма. Мы непокорны, с трудом усваиваем требования дисциплины, а власть у нас особым уважением никогда не пользовалась. Если бы, к примеру, требования режима в советских тюрьмах и лагерях соблюдались администрацией неукоснительно, мы вряд ли бы выжили. Скажем, в тюрьме дежурному надзирателю полагается каждые два часа пересчитывать заключенных в камере. Ночью, таким образом, он должен зажигать свет периодически, а то и открывать дверь. Разумеется, им лень, и свет просто горит всю ночь, что тоже неприятно, однако привыкнуть можно. В тюрьмах ГДР, как рассказывают, эта инструкция выполняется с чисто немецкой педантичностью, и ночь превращается в пытку для заключенных. Вообще, наша легендарная неорганизованность спасла нас от многих бед.

Что же касается традиционной демократии, то я сильно сомневаюсь, что таковая возможна даже теоретически. Вся история Древней Греции состояла в чередовании демократии и тирании. Платон даже считал, что одна неизбежно порождает другую. К тому же, если признать важность такой традиции, то выходит, что свободе и демократии нужно учить людей, как тригонометрии. В основе этой идеи нечто вроде порочного круга: сразу от тирании к свободе перейти нельзя, не обучены. А как же обучаться в условиях несвободы?

Еще хоть какой-то смысл был бы в рассуждениях о традициях, если бы народная память удерживала события прошлого. Однако и этого нет. Судя по национальным праздникам демократических стран, их история состоит из сплошных побед и гуманных актов. Ничего, кроме национального тщеславия, они не отражают. А вот печальные события даже 30-40-летней давности уже стерлись из памяти. Американский фильм "Holocaust" вызвал целую бурю. Не только молодежь, но и люди старшего поколения были совершенно ошеломлены, как будто факты массового уничтожения евреев нацистами представляют хоть какую-то новость. Можно подумать, что не было Нюрнбергского трибунала, тысяч книг, кинофильмов. Разве все еще не продолжают время от времени ловить нацистских преступников где-нибудь в Латинской Америке? Разве не живы еще те люди, которые освобождали концлагеря или сидели в них? Да и каждый школьник все это знает.

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost
in knowledge?
Where is the knowledge we lost
in information?*

Единственное последствие фашизма и Второй мировой войны – это безумный крен ”влево”, каково бы это ”левое” ни было, что бы оно ни означало. Левизна стала фетишем, а любой политик правее социалистов уже величался ”фашистом”. В результате мир сейчас ближе к ”красному фашизму”, чем предвоенная Европа к ”коричневому”. Такие вот дела с традициями.

Быть может, это покажется парадоксальным, но народы Восточной Европы обладают гораздо лучшей исторической памятью. Мы вообще больше живем прошлым, поскольку настоящего нет, а будущего не предвидится. Наши народы видели и фашистское нашествие и коммунистическое господство; оттого нас больше никуда не кренит. Любой антифашистский фильм или книга воспринимаются у нас как антисоветские (а иногда и запрещаются цензурой). В целом у нас читают значительно больше. Даже в самой нищей рабочей семье всегда увидишь полку с книгами, а в семьях поинтеллигентней – целые библиотеки, передающиеся по наследству из поколения в поколение. Тиражи книг громадны, а редкие или запрещенные издания продаются из-под полы на ”черном рынке”. Здесь же старые,

* T. S. Eliot. The Rock.

классические книги – удел специалистов. Средний возраст книги -- один год в лучшем случае. Подыскивая себе жилье в Кембридже в 1978, я обошел сотню домов и почти нигде не видел книг, разве что телефонные. И это в Кембридже, не в каком-нибудь поселке.

Разумеется, сказанное относится не только к Англии. Я меньше бываю в других странах, меньше знаю их жизнь, однако почти случайные эпизоды открывают ту же картину. Скажем, в Америке книги покупают не столько чтобы читать, а чтобы поставить на полку. Почти в каждом доме есть Солженицын -- считается плохим тоном не иметь его книг. Мне было любопытно знать, как он воспринимается американцами, и я чуть не каждого спрашивал, прочел ли он стоящую на полке книгу.

-- О да, -- отвечали в большинстве случаев, – но не лично.

Как можно читать книги "не лично", я понять не мог, пока кто-то из русских не объяснил мне, что большинство читает рецензии в газетах итем ограничивается. Так, чтобы не выглядеть невеждой и при случае разговор поддержать.

Сравнительно недавно, будучи в Марселе, я, конечно же, попросил свозить меня в замок Иф. Друзья мои дружно расхохотались. Оказывается, все русские первым делом туда просятся. Бывают любители и из других стран, но не французы. Французские дети не читают Дюма!

К чести малых стран нужно сказать, что они значительно больше читают. Особенно этим славится Исландия. В больших же странах положе-

ние прямо ужасающее. Считается, что привычку к чтению уничтожило телевидение. Не знаю. Думаю, все-таки, прав был философ, сказавший, что только то знание усваивается, которое крадется. Для нас чтение – все равно что наркотик, бегство от серой реальности. По мысли наших вождей, мы не должны знать своего прошлого, должны быть отрезаны от мировой культуры. Вот мы и воруем. Здесь же каждый год публикуются тысячи новых книг на любые темы. Когда же им смотреть в прошлое?

* * *

Но если не терпимость, правосознание, традиции, то что же делает их свободными? Впрочем, так ли все просто? Мы так привыкли повторять прописную истину о свободе здесь и несвободе там, что начинаем терять смысл этого понятия. Неизбежное в разговорной речи упрощение привело к абсолютизации, экстернизации. Свобода сделалась какой-то вещью, товаром, который есть в одном магазине и которого нет в другом. Осталось только определить, почем фунт. Язык – враг наш, всегда норовит обернуть дело так, чтобы списать с нас ответственность, поменявши местами причину со следствием. И глядишь – вместо "я свободен" появилось "я на свободе". К этому так легко привыкаешь, что начинаешь оперировать понятием "свобода" как географическим термином: к востоку или к западу от Берлинской стены. В лучшем случае мы отделяем "внешнюю свободу" как институцию от сво-

боды внутренней -- свободы выбора. И, уж совсем запутавшись, мы спорим, оттого ли возник ГУЛаг, что не было свободы, или ее не стало как раз из-за ГУЛага? Но вот кто-то спросил меня: "А насколько свободнее вы здесь себя чувствуете?" Какой странный вопрос. Легче -- да; безопаснее -- да. Но свободнее ли?

В тех достаточно жестоких условиях, где я прожил 34 года своей жизни, я был так же свободен, как и теперь. Мало того, и все, кого я встречал, были столь же свободны. У нас была цензура, но это привело лишь к тому, что слог пишущих стал изощренней, а глаз читающих -- острее. Это же, в конце концов, привело к возникновению самиздата. Разумеется, за это сажали (и сажают) в тюрьму, но разве от того исчезла свобода слова? Просто слово становится ценнее, а чувство свободы -- глубже. Разумеется, были и такие, кто предпочитал безопасность. Но ведь свобода-то у них была!

Да, там мы были в тюрьме. Но кто сказал, что и в тюрьме нет свободы выбора. Можно купить освобождение ценой предательства. Можно пытаться бежать. Можно унижаться за подачку и можно сопротивляться. В тюрьме, наконец, можно обрести свободу.

Для тех, кто несвободен внутренне, кто хочет убедить себя, что выбора нет, существует масса самооправданий, которые всегда звучат разумнее и гуманнее доводов свободы. Одно из них способно успокоить даже совесть палача: "Если не я, то кто-нибудь другой все равно это сделает. Лучше я, потому что тот, другой, может быть жесточе".

Как часто слышал я этот аргумент от надзирателей, следователей, тюремных психиатров. И вот я услышал его на Западе, от западногерманского бизнесмена: "Если я не продам трубы Советскому Союзу, продаст мой конкурент. А у меня на заводе 1500 рабочих, которые станут безработными". А в это же самое время мы в тюрьмах отказывались работать, полагая, что позорно нам своим трудом укреплять эту систему всеобщего угнетения. Конечно же, за это нас морили по карцерам, в одиночках, но каждый из нас знал: "Если не я, то кто? Если не сегодня, то когда?" Скажите, кто же из нас был в тот момент свободней?

В тюрьме всегда есть что терять. Даже в одиночке, где все равно нет ни света, ни воздуха, ни кровати, ни книжек и только баланда каждый второй день, тебе все же могут еще продлить срок, если ты продолжаешь сопротивляться. Конечно, Западу еще далеко до Владимирской одиночки, но он уже покорно учится не сердить гражданина начальника. Здешние политики не оставили себе выхода из навязанной им советским режимом ловушки: или война, или рабство. Политика безрассудных уступок уже привела к тому, что советский диктат чувствуется почти во всей Европе. Французское правительство, например, запрещает телевидению показывать "антисоветский" фильм в момент визита Брежнева. А вдруг дядя рассердится! Не успеют в Кремле насупиться мохнатые брови, как весь цвет западной политики спешит с заверениями дружбы. Моете ли вы хоть руки, господа, после этих рукопожатий?

Да что политики! Миллионы людей, и там и здесь, скованные одной цепью страха, роют себе могилу. Свободны ли они? Да, конечно. Только ведь это очень трудно -- *выбрать свободу*, очень страшно быть в ответе за ее последствия. Нельзя ли как-нибудь потихоньку, незаметно...

А услужливая фантазия уже подсказывает вам самооправдания -- почти такие же и здесь и там.

-- Что я могу сделать один...

-- Если не я, то другой...

-- Лучше ничего не делать, а то будет хуже...

-- Любая власть авторитарна. Лучше уж эта, чем другая...

-- Не может быть, чтобы они хотели войны. Они такие же люди...

-- Главное -- ничего не делать. Время все излечит...

Их сотни, этих самооправданий, а смысл один -- ничего не делать. Быть покорным. Как дорога в ад вымощена благими намерениями, так дорога в рабство -- самооправданиями.

Хуже мы? Лучше ли? Ни то, ни другое. Я вглядываюсь в лица прохожих и без особого труда узнаю знакомые типы. Этот -- был бы чиновником, тихим и забитым. А вот этот -- секретарем парткома. Тот -- стукачом, этот -- зеком. Знакомые персонажи. Только одетые получше, и нет еще в движениях, взгляде -- *знания* своих способностей, своих ролей.

Да, самое большое открытие в том, что люди везде потрясающе одинаковы. Это оптимистическое открытие, потому что и у нас, стало быть,

когда-нибудь станет как у них. Но это же и пессимистично -- у них, значит, тоже может быть как у нас. И тут ничего не объяснишь, сколько не кричи. Просто мы уже знаем, а они еще нет.

ГЛАВА О КАПИТАЛИЗМЕ, СОЦИАЛИЗМЕ И БРОДЯЧЕМ ПРИЗРАКЕ

"...Я также и сейчас думаю, что равенство есть метафизически пустая идея и что социальная правда должна быть основана на *достоинстве* каждой *личности*, а не на равенстве".

Н. Бердяев. Самопознание.

"Равенство, брат, исключает братство. В этом следует разобраться".

И. Бродский.
Речь о пролитом молоке. 1967

Для любого человека внезапное переселение в иную, малознакомую страну – шаг в неизвестность, сулящий много трудностей. Для эмигранта из СССР – это прыжок в пропасть без парашюта. Он, безрассудный человек, едет не просто в другую страну, к незнакомым людям с незнакомыми обычаями и говорящими на непонятном языке, а безвозвратно бросается в *иной мир,* где все должно быть иначе.

-- И куда его черти несут, – неодобрительно качают головами друзья. -- Это ведь не то, что

здесь, где можно ничего не шевелиться, надо вкалывать...

Да и сам человек понимает всю безрассудность своего порыва и, решившись, только дивится своей отчаянности: в нашем советском сонном царстве официальная государственная работа служит лишь объектом бесконечных шуток. Кто ее всерьез принимает? "Мы делаем вид, что работаем; они делают вид, что нам платят". Словом, пересекая советскую границу, мы верим, что попали в мир, где всерьез работают и всерьез зарабатывают, где миллионные сделки заключаются прямо по телефону, без всякой волокиты, и где, заработав свой миллион, становится человек полным хозяином, кумом королю и сватом министру.

-- Эх, была-не была! Как-нибудь приспособлюсь. Конечно, придется попотеть, но, по крайней мере, начинается реальная жизнь без этой вечной советской раздвоенности, сонного существования и полной бесперспективности. Теперь все всерьез, все по-настоящему.

Короче говоря, мы верим, что попали в мир капитализма.

Но вот прошли первые восторги и удивления. Жизнь входит в нормальную колею, становится рутиной. Не изумляет больше обилие товаров или вежливость обслуживания, а чтение местных газет становится привычкой. В общем, начинаешь замечать то, что ускользало или не привлекало внимания. Тут-то вдруг и выясняется, что компетентность и эффективность являются не правилом, а исключением в сегодняшней эконо-

мической жизни Запада, а люди вовсе не заинтересованы заработать лишнюю копейку. В больших магазинах продавцы не знают, ни что у них есть, ни сколько стоит, а служащие больших предприятий (например, в Италии) занимаются ровно тем же, чем их советские коллеги: чтением книжек, болтовней и ожиданием конца рабочего дня. Из моего окна мне видно, как рабочие напротив строят дом, не спеша, с перекурами, ничуть не быстрее, чем в Советском Союзе. Но ведь получают-то они раз в 5-6 больше!

На первый взгляд жизнь здесь вполне налаженная, удобная. Все вроде бы на своем месте. Но это только до тех пор, пока вам внезапно не понадобится что-нибудь срочное и не совсем стандартное. Я въехал в свой дом посреди зимы и по незнанию не заметил, как все топливо для отопления дома у меня кончилось. Как назло, погода стояла довольно холодная. Я кинулся звонить компаниям по доставке топлива, но не тут-то было. Куда я ни обращался, везде неизменно отвечали, что у них полно заказов и что раньше следующей недели они ничего обещать не могут.

-- Но я готов заплатить дополнительно за срочную доставку, -- предлагал я по наивности.

-- Что вы, сэр, как можно, это коррупция, -- вежливо отвечали мне.

Коррупция? Что за черт, где я? Разве я не в капиталистической стране, где, по идее, должен быть свободный рынок? Смешно, да и только. В социалистическом СССР я бы вышел на шоссе и остановил бы первый проезжий бензовоз,

водитель которого за червонец налил бы мне столько, сколько нужно.

Вот, скажем, Бритиш Лейланд у них тут вечно в кризисе, вечно на грани разорения. Вечно они пытаются продать машины, которые у них никто покупать не хочет. А в то же время по крайней мере две их марки пользуются огромным спросом -- "Рендж Ровер" и "Ягуар", и почему-то именно их Бритиш Лейланд никак не может произвести в достаточном количестве. И в самой Англии, и за границей за ними стоят огромные очереди, по году и более. Существует целая подпольная система спекуляции этими машинами, нелегальной продажи своего места в очереди. Ну, абсолютно как в СССР за "Жигулями"! Председатель Бритиш Лейланд уверяет публику, что-де существуют какие-то важные технические причины, по которым невозможно удовлетворить спроса. Да *не может быть никаких причин,* если мы живем в капиталистической стране, где "спрос рождает предложение"!

Не знаю, может быть, четырех лет для того недостаточно, но пока что я капитализма здесь не обнаружил. То есть, конечно, никто не запрещает вам открыть свою лавочку, но ведь и в Польше это не возбраняется, и в Югославии. Да и в СССР можно иметь, скажем, частную мастерскую по ремонту обуви. Доходов только это не приносит ни здесь, ни там. Я что-то не слышал о недавно разбогатевшем промышленнике. Подавляющее большинство новых богачей -- это люди, занятые развлекательным бизнесом: певцы, музыканты, писатели, актеры, футболисты, ну и их

агенты, антрепренеры, юристы, скупщики и продавцы предметов искусства и роскоши, владельцы стадионов и тотализаторов. Промышленность давно уже стала уделом неудачников, задавленных с одной стороны государством, регламентациями и налогами, а с другой -- профсоюзами. Да их уже и нет практически, этих частных владельцев предприятий, капиталистов. Промышленность или национализирована, или находится в коллективном владении. И то, и другое приводит, примерно, к тем же результатам, что и в СССР, т.е. к "коллективной безответственности", полной незаинтересованности служащих, нерентабельности и некомпетентности.

Конечно, мое знание этих вопросов очень ограничено. Это не столько знание, сколько впечатление, да и то в основном впечатление от жизни в Англии. Я далек от намерения проводить серьезный экономический анализ с таблицами и диаграммами. Признаться, я в них не очень верю. Почувствовать психологическую атмосферу кажется мне значительно важнее. Вот ведь и медики иной раз поначертят кривых да таблиц температуры, давления, анализов, и все вроде бы ничего, так, маленькие отклонения без какой-либо научной причины. А между тем больному все хуже и хуже. Со стороны же поглядишь: "Э, да он у вас, братцы, не жилец..." И точно, смотришь, скапустился человек через какое-то время.

Пожалуй, самый значительный материал для наблюдений получил я от издания своей книги в девяти различных странах. Поначалу очень мне не хотелось ее писать. Старое ворошить и вообще-то

приятного мало -- тем более, мое беспросветное. Хотелось все скорее забыть и жить заново, не оглядываясь, будто только что родился. К тому же, и писать я не люблю, просто весь организм сопротивляется этому занятию. А кроме всего прочего, устал я в то время смертельно: ведь безо всякой передышки, после шести лет тюрьмы да полугода лихорадочной гонки по всему миру, хочется, наконец, и отдохнуть. Уговорил меня товарищ:

-- Пока не изложишь подробно все как было, -- не будет тебе житься все равно. Замучают расспросами. Ведь сколько ни выступай да ни беседуй с журналистами, остается что-то недосказанное, что только разжигает их любопытство. А напишешь -- словно щитом прикроешься этой книгой. Они к тебе с расспросами, а ты им -- книгу.

Контракты подписали быстро. Издатели торопили, справедливо указывая, что интерес здесь долго не держится. Для их коммерческих целей чем быстрее опубликуешь, тем лучше. Словом, получалось так, что написать нужно за три с половиной месяца. Вряд ли я осилил бы это, если бы не мои английские друзья -- Черчилли, предложившие мне коттедж в своей усадьбе и гарантию полной изоляции.

-- Если дествительно хочешь быстро написать книгу, -- говорил Уинстон, -- полностью изолируйся. Никому не говори, где ты, не звони и не давай телефона. Исчезни. Ну, а пищей и всем необходимым мы тебя снабдим.

Я согласился. И хоть мои хозяева за карантином не следили, оставили это на моей совести, я все же старался соблюдать его как можно строже, понимая справедливость такого совета. А пуще всего боялся я не уложиться в установленный срок, подвести издателей. Очень мне не хотелось оказаться "не деловым", не надежным. Вот -- скажут -- русские все такие, нельзя с ними дела иметь. Было это моим первым столкновением с "деловым миром", и все наши советские легенды о капитализме настроили меня на сверх серьезный лад.

Временами я думал, что просто чекнусь. Уже через несколько недель ни есть, ни спать я не мог. Все перевернулось: писал я почему-то ночами, часов до восьми-девяти утра, отсыпался днем и снова, как на каторгу, шел писать. Все перепуталось: явь и фантазия, и прошлое и настоящее, и день и ночь. Любезных хозяев своих я почти не видел, разве что иногда за ужином, который, строго говоря, был для меня завтраком. Наверное, мой полусумасшедший вид производил на них странное впечатление. Может быть, это только моя особенность, может, и общее правило, не знаю, только почему-то описывая прошлые события, переживал я их гораздо острее, чем в реальной жизни. Ведь в действительности, когда живешь, стараешься подсознательно притупить восприятие, заглушить чувства, как бы отдалить их от себя, отыскивая во всем комическую сторону, да не слишком заглядывать в будущее. Время сжимается, съеживается, точно ртуть термометра на морозе, -- и прошлое и будущее как-то уме-

щаются у тебя в одном дне, а то и в одном мгновении. Защитная реакция организма состоит в том, чтобы не слишком задумываться, не воспринимать происходящего всерьез и никогда не рассчитывать на хорошее. Оттого и кажется все не так уж плохо, всегда есть чему порадоваться. Распутывая же впоследствии клубочки памяти, этой спасительной анастезии уже не имеешь, как после операции, когда возвращается к нервам способность чувствовать. К тому же, когда пишешь о реальных событиях, реальных людях, многое приходится умалчивать, чтобы им не повредить. Как правило, самые живые эпизоды приходится обходить. Многое, что в реальной жизни оправдывало твои поступки, приходится опускать, упрощать -- всего ведь не опишешь, никакой бумаги не хватит, да и не поймут без очень подробного объяснения. Словом, это была подлинная каторга, стоившая мне доброго десятка лет жизни, но, конечно, кончил я точно в срок.

Однако, прошло больше года, прежде чем первые издатели смогли ее опубликовать. Так я и не понял, зачем же от меня требовали такого невероятного усилия. Почему волынили целый год, если сами же объясняли, что интерес падает быстро? Но, оказалось, что интересы коммерческие, "деловые" у издателей вообще существуют лишь теоретически, профессиональная некомпетентность ужасающая, а здравый смысл им, видимо, противопоказан. В целом, я поразился их косности, непредприимчивости, отсутствию всякого интереса к делу.

Вообще книгопечатание здесь дело трудное, о чем я уже имел случай говорить. Книгу длиннее 250 страниц теперешний читатель берет в руки неохотно, что, разумеется, сказывается на качестве книг -- ведь далеко не все можно рассказать и разместить в таком объеме. Да и читают здесь удивительно мало. Словом, читателя нужно чем-то привлечь, "уловить его взгляд". Будучи сам заядлым читателем, я знаю, что в документальной книге, прежде чем купить (или не купить ее), обязательно тянет поглядеть иллюстрации, фотографии. И если таковых нет, то, по крайней мере, вполовину интерес к ней теряется: пропадает как-то ощущение документальности, подлинности. Но, сколько я ни спорил со своими издателями, ничего не помогло. Из всех девяти только французы поместили фотографии.

Потом заголовок, да и сама конструкция книги оказались источником бесконечных споров, целых баталий. Дело ли тут в разнице вкусов или, как мне казалось, просто в отсутствии такового у большинства моих издателей, но только очень им хотелось, чтобы все было описано в хронологическом порядке, а называлось либо "Моя жизнь", либо "Мои воспоминания", или еще того тошнотворней -- "Воспоминания диссидента". Американцы, с которыми больше всего пришлось мне спорить, изобрели какие-то "Размышления человека в наручниках" и страшно удивлялись, что я недоволен. Писать же в хронологическом порядке я просто не мог себя заставить. Просто вот написать: "Я родился 30 декабря 1942 года..." оказалось для меня

физически невозможно. После такой строчки ничего уже добавить я не мог, как бы полностью исчерпав тему. Ну разве что: "... а умер в..." и на этом закончить. Эта книга никак не получалась у меня мемуарами, да ведь и невозможно написать мемуары в 35-36 лет.

Удивительно, что хуже всех оказались американцы. Их пресловутая деловитость, efficiency, которую принимаем мы за чистую монету, есть лишь поза, привычная мимикрия. Так, оказывается, принято *выглядеть* в Америке, чтобы не слишком выделяться. Огромное издательство, можно сказать, целый концерн, с которым у меня был контракт, не только торопило меня больше всех, а издало книгу позднее всех, не только отказалось от фотографий, уверяя, что это слишком увеличит розничную цену, выпустив в результате огромный, скучный кирпич по баснословной цене (17 с лишком долларов), но еще и норовило постоянно что-то исправить в тексте. Дело здесь было не в каком-то злом политическом умысле. Большая корпорация, как я убедился, удивительно напоминает советское предприятие своей неповоротливостью, безразличием служащих, и той бюрократической круговой порукой безответственности, когда Иван кивает на Петра, Петр – на Ивана, а концов не найдешь, сколько ни бейся. Я долго не мог взять в толк, почему редакторы с такой настойчивостью предлагают то одно изменение, то другое, порой совершенно бессмысленное, переставляя просто местами отдельные куски или фразы. Это была бесконечная война с некой незримой силой Энтропии,

стремившейся разрушить всякую целостность, размыть всякий смысл, развязать и разгладить все узелки и складки, неизбежные в литературном повествовании. Ощущение было такое, будто борешься со сломавшимся компютером. Только со временем уразумел я, что примерно так и было. Огромной машине нужно было что-то делать, чем-то оправдывать свое существование, и, пропуская через себя мою несчастную книгу, она неизбежно превращала ее в свое подобие — в клубок запутанных бессмысленностей. Прибавьте еще сюда тот факт, что к моменту этой титанической борьбы у меня уже начались занятия в университете, и вы поймете, какая меня охватывала ярость при получении очередной пачки гранок, которые каждый раз нужно было внимательнейшим образом читать, сравнивая с оригиналом, точно археолог, восстанавливающий сосуд по сохранившимся черепкам. Наконец, пришли окончательные гранки, выверенные, согласованные, готовые к печати. На титульном листе крупными буквами стояло: "To build a castle — my life as a deserter" (вместо dissenter).

Странно все-таки поставлено здесь дело: почему-то ты должен за всех все делать, быть одновременно и автором, и корректором, и переводчиком, и агентом по рекламе, распространителем. Почему? Я ведь только автор, мое дело написать. Неужели так трудно всему этому штату просто издать написанное? То есть вот просто так и издать, как написано? В другой стране (не буду сейчас указывать, в какой) переводчик вдруг решил "улучшить" книгу — казалось

ему, что она плохо написана. Ну, это, конечно, дело субъективное, может, и плохо, да только разве это дело переводчика? По счастью, мои друзья, которым я поручил следить за качеством перевода, уже по горькому своему опыту никому не доверяя, вóвремя заметили это и спохватились. (Тут нужно заметить, что и вообще с переводом здесь дело обстоит значительно хуже, чем у нас. В переводчики здесь, как правило, идут неудавшиеся писатели или люди вообще далекие от литературы, за которыми почему-то укрепилась репутация, что они "знают язык". У нас же лучшие писатели были вынуждены жить переводами, поскольку их собственные произведения не печатались. В результате у нас требования к качеству перевода необычайно высоки, создалась целая культура перевода. При том уважении к иностранной литературе, десятилетиями служившей как бы отдушиной для интеллектуально голодных людей огромной страны, переводчиком у нас быть почетно. Здесь же это весьма посредственно оплачиваемая работенка, которую уважающий себя писатель делать не станет.) Однако, как оказалось, сменить преводчика тоже практически невозможно. Это как бы клан, мафия. Хотя частным образом, с глазу на глаз, каждый из них соглашался, что перевод неудачный, публично или в отзыве издателю все они уверяли, что он прекрасен и лучшего желать просто нельзя. Один из них, человек весьма уважаемый и действительно прекрасный специалист, откровенно сказал мне, что ругать работу коллеги здесь не принято, "неэтично", а существует

как бы дух корпорации, взаимная солидарность.

-- Как бы ни было это плохо, ни один профессиональный переводчик теперь этого не скажет. И я не могу, а то меня просто сожрут, затравят остальные.

Положение мое в результате оказалось просто отчаянным. Издатель мне не верил, считал, что я просто привередничаю. Да и как я мог доказать ему свою правоту, если сам данным языком не владею? С большим трудом удалось найти мне переводчика вне этого устоявшегося клана. Время же было безвозвратно потеряно, и книга вышла с большим опозданием, только через полгода. А сколько мне это стоило нервов!

Впоследствии я имел возможность убедиться, что вот эти "мафии" -- не исключение, а правило среди различных "специалистов". Действительно честную конкуренцию теперь редко где встретишь. Рыба ищет где глубже, а человек -- где лучше. Чем надрываться в борьбе за клиента, гораздо легче и естественней установить вот такую круговую поруку.

Но что окончательно сразило меня, это непроходимая косность в самой организации издательского дела. Мой английский издатель, человек весьма доброжелательный, милый и ко мне расположенный, сказал мне с большой гордостью:

-- Ну вот, все идет очень успешно. Вам, наверное, приятно будет узнать, что тираж ожидается большой -- семь с половиной тысяч!

У меня аж челюсть отпала. Семь с половиной тысяч на всю Англию и Британское Содружество? Для кого же я писал книгу, сходя с ума бессонными ночами?

Оказалось, что, во-первых, тиражи в Англии определяются книготорговцами: сколько они книг в сумме закажут, не читая, а часто и не зная ничего об авторе, столько их издатель и отпечатает. Естественно, что при такой странной купле "кота в мешке" торговцы из осторожности заказывают по чуть-чуть, на пробу, иной раз всего по несколько штук на большой магазин. Опять же с гордостью, говорили мне, что "даже такой-то магазин купил пять штук и три поставил на витрину". Конечно же, первый тираж раскупили довольно быстро, однако читатель здесь -- не советский, требовать и скандалить не будет. Книги при их здешней дороговизне и вообще-то покупают, в основном, к Рождеству да ко дню рождения в подарок, а стало быть, купят ту, что есть. Нужно иметь сверхестественный интерес к данной книге, чтобы специально ее заказывать (заказа в Англии нужно ожидать 4-6 недель). В результате уже через полгода-год меня стали осаждать письмами читатели: где достать вашу книгу? Получалось, что теперь еще и продавать ее я должен сам. Дошло до анекдотов: точно в Москве, за книгой стояли в очередь, передавая ее друг другу, о чем с гордостью извещали меня письмами. Англичане -- люди удивительно трогательные. Если уж что-то вызывает их сочувствие, они не успокоятся, не пожалеют ни времени, ни сил. Какой-то пожилой человек из Лондона извещал меня, что, не найдя книгу в магазине, взял в библиотеке и *снял с нее фотокопию* для себя, своих друзей и знакомых. Вот тебе и спрос, рождающий предложение!

Во-вторых, -- и здесь мы подходим к главному абсурду, существующему почти во всем мире, -- книги здесь делятся на "твердый переплет" и "мягкий переплет". Я, собственно, так и не понял, в чем смысл этой традиции, какова коммерческая идея, ее создавшая, но факт остается фактом: сначала здесь издают книгу в твердом переплете, безобразно дорогую (английское издание стоило 7,5 фунта) и очень маленьким тиражом. Подавляющее большинство ваших потенциальных читателей позволить себе такую роскошь не может, они ждут выхода ее в бумажном переплете, дешевом и массовом, которое может последовать (а может и не последовать) года через полтора-два. Опять же, через столь длительный срок мало кто будет помнить и о вас и о вашей книге -- все рецензии, реклама и прочее появляется лишь при издании "твердого переплета", а за два года столько произойдет в мире, столько новых книг будет напечатано и разрекламировано, что просто невозможно ожидать такой сверхестественной памяти. Интерес -- и вообще-то продукт скоропортящийся, при существующем здесь сравнительном равнодушии к книгам подавляющее большинство ограничивается чтением рецензий. Выйдет или не выйдет ваша книга в бумажном переплете, зависит теоретически от того, насколько успешно распродавалось "твердое" издание, что совершенно не зависит от качества книги, как видно из вышеизложенного. Забегая вперед, скажу, что ни в Англии, ни в Америке "бумажный переплет" моей книги так и не появился (и, наверное, теперь не

появится) по причинам совершенно случайным: в Англии права на это издание купил "Пингвин", вскоре запутавшийся в своих делах и проданный новому владельцу, отменившему почти все запланированные ранее публикации. В Америке же к установленному сроку почти все: главный редактор, редактор, юрисконсульт и даже зав. отделом распространения -- уже не работали в данной фирме. Новые должностные лица решили начать жить сначала. Получить же права назад чрезвычайно трудно. Это потребует бесконечной юридической волокиты, включая, возможно, даже судебную. На это у меня сил уже нет.

Однако эта нелепость меня крайне заинтересовала. Я вообще люблю бюрократические нелепости -- в них, как правило, вскрывается суть системы. Так вот, я решил исследовать причину книжного абсурда, насколько это позволяла хроническая нехватка времени и отсутствие специальных знаний. В самом деле, почему бы не сделать все наоборот: сначала издать дешевое бумажное массовое издание и, воспользовавшись максимальной рекламой, продать как можно больше, а затем, если это имело успех, издать и дорогое, подарочное издание? Ведь эти "рынки" не пересекаются: те, кто любит собирать дорогие книги, подождут все равно, это их хобби. Те же, кто не в состоянии тратиться на дорогие книги, все равно ждет выхода дешевых изданий.

-- Ну что вы, как можно? -- удивились мои издатели. -- Кто же будет рецензировать бумажное издание? Это против традиций.

Вот ведь странно: оказывается, книги издаются для рецензентов, а не для читателей! Да и черт бы с ними, с рецензентами. Пусть не пишут. Я бы для них и писать не стал. Сказать по правде, большинство рецензий в Англии поразили меня своей непрофессиональностью, недалекостью, а то и политической враждебностью. Судя по ним, я с уверенностью могу сказать, что очень многие даже не удосужились прочитать книгу, а лишь проглядели ее "по диагонали". Бог мой, какой только чепухи они понаписали! Существующая здесь этика не позволяет ни отвечать на рецензии, ни спорить с рецензентами. Но, чтобы хоть представление дать, о чем мы говорим, приведу несколько примеров. Одна солидная дама, впоследствии признавшаяся, что не успела прочесть книгу (слишком мало редакция дала ей времени, да и дел было много), писала, например, что вот, мол, автор утверждает, что со времен Сталина ничего-де в России не изменилось, хотя мы-то все знаем, что это неверно. И дальше вся рецензия была посвящена восхвалению Хрущева, а вовсе не моей книге. Ну, что она книгу не успела прочесть, это со всяким может случиться, я ее не упрекаю. Но даже и проглядев по диагонали, можно было заметить, что я как раз об этих изменениях и пишу. Да потом все-таки можно же было сообразить, что и я за 35 лет в СССР кое-что о Хрущеве слыхал. Зачем же так вот сразу и предполагать, что автор дурак или невежда, хуже нее свою родную страну знает. Ну, написала бы что-нибудь неопределенное, как большинство других.

Другой, не менее солидный рецензент писал: "Конечно, лучше бы автор просто описал свою жизнь день за днем..." Надо же такое ляпнуть! Любопытно, сам-то он пробовал так вот свою жизнь описать? Сколько же, он думает, понадобилось бы томов? Да ведь и читатель бы со скуки помер. Да, наконец, и невозможно помнить каждый свой день, особенно в тюрьме.

Иные откровенно сводили политические счеты, высасывая из пальца обвинения во всех смертных грехах. Какой-то молодой, очень "левый" и ретивый умник уверял, что послевоенная Москва была гораздо изобильнее Бристоля. Как он это установил, Бог ведает, только от души не желаю ему такого изобилия. Он же вдруг обвинял меня в "наивном отношении к сексу", за то, что я мимоходом пожалел молодых ребят, изнасилованных урками в лагерях и доведенных потом лагерной традицией до положения скотов. Я, видите ли, может быть и разбираюсь в тюрьмах, но это никак не делает меня "экспертом по свободной жизни". Ну вот его бы изнасиловали где-нибудь на пересылке -- я бы его потом с удовольствием спросил, не стал ли он более наивным, а заодно и большим экспертом по свободной жизни. Ну, хоть бы честность имели просто написать, что политически со мной не согласны, как это сделала итальянская коммунистическая "Унита", написавшая вполне приличную человеческую рецензию.

В целом я довольно легко мог предсказать, какая газета какую рецензию напишет, а то, что в Англии от "левых" ни мужества, ни честности

ждать не приходится, это я тоже знал. У них тут модно "кротами" жить. Рецензия для них удобный жанр -- на нее ведь ни отвечать, ни сердиться не полагается. И от таких вот рецензентов зависит твоя книга.

Постепенно выяснил я, что дело тут, конечно, не только в рецензиях и традициях. На первое издание, оказывается, приходятся все расходы, которые оно и призвано оправдать. Расходы эти велики, как велик и риск с любой новой книгой. Поэтому с книгами происходит то же, что и с транспортом: нерадивые предприниматели сами себе сокращают рынок. Чем меньше потребителей, тем меньше тираж, тем больше цена; чем больше цена, тем меньше потребителей. Примерно как с Британскими железными дорогами или с авиатранспортом до появления сэра Фредди Лэккера. Расходы же растут постоянно из-за прочих экономических причин (инфляция, рост зарплат и т.д.). Словом, как впоследствии я не раз убеждался, главная причина исчезновения товаров и услуг -- это бездарность предпринимателей, одряхлевших, боящихся риска, цепляющихся за устаревшие концепции. Предприниматель в наше время должен быть революционером, чтобы выжить. Ну, а революционеры здесь не идут обычно в предприниматели. Они предпочитают грабить банки и взрывать бомбы в пивнушках.

Грустно, но факт: если вскорости в издательском деле не обнаружится свой Фредди Лэккер, мы дойдем до положения самиздата. Культура книги вообще может исчезнуть -- в Москве ее

хоть поддерживает энтузиазм любителей, удесятиренный коммунистическим запретом. И что ведь странно: мне, всю жизнь прожившему при "социализме", это очевидно, им же, здесь при "капитализме" рожденным и выросшим, невдомек, что принцип этот вообще, видимо, един для нашего времени.

Справедливости ради нужно отметить, что таковы не все. Скажем, мои итальянские издатели вот смогли же выпустить дешевую, маленькую по размерам, привлекательную книгу -- и были вознаграждены. Лучше всех, однако, оказались французские издатели. В обеих этих странах нету традиции "твердого переплета", а издают они сначала нечто среднее, значительно более дешевое, массовое. Французы, к тому же, и фотографии использовали, и заботились о книге, да и тираж у них не зависит от книготорговцев.

Вот и была она бестселлером. Позднее вышло несколько изданий в твердом переплете, а затем и совсем дешевое, карманное -- все с неизменным успехом.

Разумеется, не только в книгопечатании, но и в любой отрасли предприимчивость, изобретательность, риск себя оправдывают. Некоторые предприниматели, например, стали дробить крупные предприятия на более мелкие, не более 400-500 работающих, стараясь сделать труд более творческим, а в качестве стимула использовать различные развлечения. Один даже рассказывал мне, что построил своим рабочим бассейн, где они купаются в рабочее время. И что же? Производительность труда только возросла. Ни-

же я еще буду подробнее обсуждать свое наблюдение (а точнее, догадку) о том, что в сознании людей, видимо, произошел некий сдвиг. Деньги перестали служить мощным стимулом по многим причинам. Человек стал значительно больше ценить досуг, отдых, развлечения. Видимо, пришла пора перестраивать и систему стимулов в промышленности. Не мне судить да советовать -- я лишь посторонний наблюдатель. Одно могу сказать твердо -- под лежачий камень вода не течет. По старинке жить вряд ли кому удастся. Пока большинство за эту старинку продолжает цепляться, и дело идет только под уклон. Действительно способные предприниматели -- не правило, а исключение. И пробиться им через государственные регламентации да всеобщую косность очень трудно. Страдают же от этого все: и потребители, и рабочие, и вся экономическая система.

Когда-то Маркс определил капитализм как экономическую систему, подчиняющуюся законам свободного рынка и конкуренции. Дальше он, конечно, наговорил массу глупостей, уверяя, что капиталисты обязательно такие жадные и глупые, а рабочие такие буйные и умные, что все это непременно плохо кончится. Поглядел бы он на современный капитализм -- не одну бы слезу пролил старик в свою лохматую бороду. Ну где она, конкуренция? В современном мире давно уже возобладал дух мафии, раздела рынка и круговая порука. Кто сейчас позволит разориться большой и нежизнеспособной корпорации? Ведь это же почти национальное бедствие!

Мне довольно часто приходится бывать в США, а в 1977 году я сделал большой тур, посетив 14 городов, в основном крупных промышленных центров. Поскольку я был гостем американских профсоюзов, то встречался преимущественно с рабочими, учителями, студентами. Хозяева мои взяли за правило почти в каждом новом месте показывать мне самые бедные, трущобные районы и самые богатые, чтобы я почувствовал "контрасты американской жизни". Однако, если богатые районы действительно впечатляют, то трущобы меня совсем не потрясли. Дело не только в том, что по советским стандартам это были вполне нормальные, я бы сказал, средние, жилища, -- переносить советские нормы на американскую почву было бы нечестно, все ведь относительно, -- дело в определенном психологическом настрое этих мест. Выросши сам в трущобах, я отлично знаю, что настоящая, "честная" нужда -- это вовсе не живописные лохмотья, взывающие к жалости, это старательно залатанная одежда, вымученная улыбка и отчаянное усилие выглядеть "как все". У нас в одном бараке может жить двенадцать семей, отгородившись фанерными перегородками, однако и цветочков посадят, и дверь покрасят. Здесь же в каждой детали чувствовалось полное нежелание чем-либо улучшить свою жизнь. Ведь подправить крылечко или вставить хотя бы фанерку вместо разбитого стекла -- денег не требует, а почистить грязь -- и того меньше. Нет, во всем чувствовался сознательный вызов. Чем хуже -- тем лучше, потому что во всем *виновато* общество и оно

обязательно обо всем позаботится. Как хотите, считайте меня бездушным, жестоким, бесчеловечным даже, но не мог я себя заставить испытать сострадания или простого сочувствия ни к этим людям, ни к этому обществу. Ведь, даже сидя годами в своей тюремной камере, мы и пол старались держать в чистоте, и тряпку раздобыть, и календарик, глядишь, из газеты вырежешь, на стенку повесишь. У каждого худо-бедно, а одежонка заштопана. Иной раз всего-то на пару дней переведут в новую захламленную камеру, а все-таки стараешься ее в божеский вид привести. Ну как же так, самому ведь жить! Эти же вот сидят и ждут, что виноватое общество принесет им все на блюдечке.

По сути дела, добрая половина здешних экономических проблем порождена этим потребительским, паразитическим отношением. В Италии, например, мне рассказывали, что для решения экономической отсталости и бедности юга правительство предприняло программу специальных субсидий тем промышленникам, которые станут создавать предприятия на юге. Угрохали массу средств, построили новые предприятия, а население не пожелало на них работать. Пришлось чуть ли не привозить рабочих с севера. На северо-востоке Англии, где сосредоточено много угольных шахт, безработица и бедность наибольшие в стране. Причина очень простая: кончаются запасы угля, шахты закрываются, исчезает работа. Правительство пытается создавать специальные курсы по переквалификации, на которых даже какую-то стипендию платят, словом, всяче-

ски пытается переманить рабочих в другие сферы экономики или другие районы страны. Не тут-то было. Безработное население годами будет просиживать штаны по пивным, упрямо повторяя:

-- Какого черта я должен менять свою профессию! Мой дед был шахтером, мой отец был шахтером, и я буду шахтером.

Не знаю, почему вдруг Маркс решил, что рабочие склонны к революциям, что "пролетариату нечего терять, кроме своих цепей". Напротив, сколько можно видеть, этот слой общества наиболее инертен, склонен легко уступать свои свободы в обмен на социальную обеспеченность.

Начавшись весьма бурно, рабочее движение способствовало созданию "государства социального благополучия" (welfare) распределение распределение благ, создана целая система социальных гарантий. То есть практически этот самый социализм здесь уже построен, насколько его вообще реально создать в человеческом обществе. Однако это привело к нескольким отрицательным последствиям. Во-первых, это тут же сказалось на эффективности экономики и компетентности работающих, на качестве товаров и услуг, на стабильности всей экономической системы. Работа вообще, в особенности доведенный до бессмысленного автоматизма труд в промышленно-развитом обществе, отнюдь не удовольствие. Введение значительных элементов социализма, социальных гарантий свело возможные стимулы практически к нулю: хорошо ли, плохо ли работает человек, или же не работает совсем, уровень его жизни меняется мало.

Во-вторых, равенство -- искусственное состояние, которое нуждается в постоянной искусственной поддержке. Человеки ведь по природе не равны. Поэтому, с одной стороны, оно стоит огромных денег, ложась тяжким бременем на плечи способных и работящих, с другой же – еще больше развращяает лентяев, создает уже упомянутую выше атмосферу паразитизма. К тому же, для поддержания этого равенства нужна постоянная организованная сила, а эта сила имеет тенденцию к доминированию в обществе, к бесконтрольности. Такова стремительно растущая бюрократия вообще и бюрократические профсоюзы в частности. Мы забываем, что социализм по самой своей идее занят не правами отдельного человека, а правами коллективов, "классов", групп населения. Напротив, интересы отдельного человека по этой идее должны приноситься в жертву общей выгоды. Вот и получается, что если западные профсоюзы и свободны от государства, то вообще назвать их свободными никак нельзя, поскольку человек уже не свободен решать самостоятельно, вступать ему, скажем, в профсоюз или нет, а проголосовать против забастовки, предложенной руководством, прямо опасно. Словом, человек все больше отдает свою свободу в обмен на обеспеченность.

Парадокс же состоит в том, что ни обеспеченности, ни стабильности он так и не получит. Как раз наоборот. Система эта крайне нестабильна. Экономика начинает идти под уклон, общий уровень падает. Чтобы выполнить свою часть сделки, наша конституция должна постоянно во-

евать с остальным обществом, требуя сохранения статуса-кво, -- как бы ни было плохо состояние экономики, "положение трудящихся ухудшаться не должно". Вот и получается, что сначала под давлением с двух сторон предприятие приходит к краху, затем, чтобы сберечь рабочие места, его остается только национализировать, то есть привести в состояние хронической некомпетентности и нерентабельности. Государству же остается только увеличивать налоги, то есть еще больше подрывать оставшиеся пока что рентабельными предприятия.

Черт его знает, быть может, мое впечатление ошибочно, быть может, все еще не так уж плохо. Что ж, дай-то Бог. Только слишком много замечаю я здесь подозрительного сходства с советской экономической системой. Сдается мне, что просто у нас, под водительством коммунистов, этот процесс произошел стремительно, в какие-нибудь 20 лет полностью разрушив экономику, и дошел до заметного всем, очевидного абсурда. Здесь же он растянулся, может быть, на целое столетие. У нас, проводимый насильственно, в условиях террора и физического истребления сил, способных к сопротивлению, он занял немного времени, здесь же здоровое общество продолжает сопротивляться. Может, в этом-то и вся разница между нашим социализмом и здешним? Одно мне кажется несомненным: если здесь социализм еще в зачатке, в новинку и люди не успели еще как следует к нему приспособиться, то у нас, согласно газетам, -- период "развитого социализма", который неизбежно по-

рождает ”черный рынок”, подпольный капитализм и весьма высокую конкурентоспособность у значительной части общества. Мы гораздо более приспособлены к жизни, гораздо более предприимчивы и деятельны. Люди западные в среднем вряд ли выжили бы у нас -- ведь там нет ”государства всеобщего благополучия”. Иной раз стоишь теперь, стоишь где-нибудь на остановке такси или автобуса добрый час. Нет машин. А мимо идут бесчисленные автомобили, частные и служебные, легковые и грузовики, но ни один не притормозит, как бывало в нашем социалистическом отечестве и не предложит:

-- Садись, землячок, подвезу за трояк... Куда тебе?

На чем только не приходилось мне ездить в СССР: и на пожарной машине, и на ”скорой помощи”, и на бензовозах, а то и на роскошном лимузине какого-нибудь начальника. Однажды даже КГБешный шофер подвез. Что же, бизнес есть бизнес. Трояк в хозяйстве пригодится каждому. В обеденный перерыв или после смены почему же не”подкалымить” строителю коммунизма? Ну, а здесь, в царстве капитала, зачем людям утруждаться? И так все дадут.

Быть может, у кого-то возникнет впечатление, что я всерьез верю в эти ”измы”, причем, сам как бы отстаиваю капитализм, считая его панацеей. Это, разумеется, не так. Просто социализму сейчас уж очень радуются как чему-то благому. В сущности, никто не знает, что это такое. Социализмов столько же, сколько и социалистов, а раздражает меня то, что такое большое количество

людей в мире верит, будто можно решить человеческие проблемы простой перестройкой общественных структур.

Что же касается капитализма, то я его никогда не видел и даже не знаю, возможен ли он. Во всяком случае, сейчас его здесь нет. Конечно же, дело тут не только в засилии социалистических предрассудков. Есть, видимо, и более глубинные причины. Прежде всего, сам ход технического развития привел к тому, что появилось "конвейерное производство", где любая операция раздроблена на простейшие, стереотипные действия, убивая при этом творческий элемент в труде. Трудно ожидать от человека особого энтузиазма, если 8 часов в день ему нужно закручивать одну и ту же гайку. Затем, такое производство, видимо неизбежно ведет к укрупнению предприятий, а конкуренция -- к возникновению огромных, неповоротливых корпораций, где уж всем на все наплевать.

Мне трудно судить, я здесь лишь четыре года, но кажется, что есть и еще причина нынешнего состояния деградации. Прежде всего, как можно догадаться, некоторая важная перемена вдруг произошла в людях, по-видимому, где-то в 60-х годах. Ведь не случайно же тогда возникли все эти массовые движения против "потребительства", накопительства, культа вещей и постоянной гонки за уровнем жизни. Мне остается лишь гадать, но я понял этот период как некий бунт человека против материализма: что же это за жизнь, состоящая из вечной неустанной гонки? Зарабатывай, зарабатывай, зарабатывай и поку-

пай, покупай, покупай. Зарабатывай, чтобы покупать, покупай, чтобы зарабатывать. А надо ли все это? Быть может, лучше обойтись меньшим, но просто жить, пока еще время есть? Много ли человеку надо, в самом деле? И вот десятки тысяч молодых людей, бросив все, кочуют из страны в страну, бренчат на гитарах и наслаждаются жизнью, на зависть своим родителям, практически доказывая, что человеку нужно очень немного. У меня есть подозрение, что это странное движение 60-х годов не осталось без последствий для всего мира. Изменились ценности. Отдых, развлечение стали основой жизни. Отсюда небывалый расцвет развлекательного бизнеса, отсюда же и внезапное повышение интереса к религии.

Что ж, в этом, наверное, есть своя истина. Действительно, человек все-таки заслуживает лучшей судьбы, чем крутиться всю жизнь как белка в колесе за горсть орешков. Но ведь с изменением ценностей не исчезают проблемы. Отдых и развлечения тоже стоят денег, их тоже приходится зарабатывать, и тот богаче, у кого их оказывается больше, а больше их у тех, кто богаче. Беда в том, что время (которое у нас есть) -- это деньги (которых у нас нету). Или наоборот.

Отказаться от борьбы -- великий соблазн, который нам кажется простейшим способом победить. А ну вас всех к черту с вашей сутолокой, с вашей вечной свалкой! Вы, глупые, деритесь себе, а я, умный, посижу на солнышке, в сторонке. Но вот беда: мы просто сотканы из неразрешимых противоречий. Врозь нам скучно, а вмес-

те -- тесно. И не нужна нам победа, которой никто не видит: собравшись же вместе, мы вновь начинаем бороться за первенство. Ведь даже понять самих себя не можем, только глядя на соседей. Как еще реализовать или выразить себя человеку, если не в борьбе?

Можно отменить деньги, уничтожить предметы роскоши, жестко нормировать пищу и предметы первой необходимости, можно заставить жить всех в абсолютно одинаковых бараках и получать мужей и жен по жребию, словом, можно довести себя до любого скотского состояния в стремлении добиться равенства, и -- это ни к чему не приведет. Человек всегда найдет способ выделиться, люди всегда найдут условную ценность, которой не хватит на всех поровну и которая определит их неравенство. Единственным результатом такого крайнего эксперимента будет лишь порождение чудовищного неравенства и коррупции: ведь в этих условиях малейшая привилегия будет восприниматься как громадное состояние. И уж какое там братство! Одной только тайной полиции сколько нужно, чтобы поддерживать такое равенство.

Здесь как-то не любят всерьез рассматривать советский пример. Считается, что он "нечистый", искаженный. Отнюдь нет. Все у нас делалось согласно теории, в интересах трудящихся. Просто наши вожди были более последовательными, чем кто-либо до них или после них. Неудача не обескураживала их, а наоборот, вдохновляла на большую последовательность. Пожалуй, лишь красные кхмеры были еще более последовательны,

но слишком мало просуществовали. Наши результаты интересней. Например, за 62 года не удалось уничтожить в людях инстинкт собственности, несмотря на то, что носители этого инстинкта физически истреблялись и истребляются. Это оказалось так же трудно, как уничтожить всех курносых или голубоглазых. Напротив, инстинкт этот вдруг пробудился с невероятной силой даже в тех, в ком его и ожидать было нельзя. Словом, советский эксперимент принес невероятное открытие: мы вдруг поняли, что вещи, собственность -- это вовсе не материальная потребность, а духовная. Точнее, это средство самовыражения для подавляющего большинства людей. Нельзя же действительно ожидать, что большинство найдет себя в науке или в искусстве, нужно же все-таки понять и тех, кому это неинтересно. Да ведь среди ученых или деятелей искусства тоже не часто найдешь таких фанатиков своего дела, которым ничего, ну ровным счетом ничегошеньки не надо, кроме признания в своей области.

Не удалось уничтожить и "классы". Реальный разрыв между богатыми и бедными, между начальником и его подчиненными в среднем гораздо больше, чем на Западе. А определенные привилегии просто никакими деньгами не измеришь. Ну, скажите, например, насколько "богаче" тот, кому разрешают ездить за границу в сравнении с тем, кому не разрешают? А ведь начали-то мы с абсолютного равенства.

Нет, дело здесь не в проклятых вещах, закабаливших человека, не в каких-то бессмысленных

"измах" или "несправедливом" устройстве общества. Дело в нашем неумении (да и нежелании) отделять реальный мир от своих собственных побуждений, аберраций, в поразительной неспособности думать.

* * *

Простительно нам, по неведению, выплавливая кусочки информации из болота официальной лжи, принимать миф за реальность. Но ведь и на Западе люди верят, что живут при капитализме, а добрая половина их объясняет этим свои беды. Простительно нам считать, что вот наш социализм, видимо, какой-то другой, чем западный. Но ведь и здесь даже люди информированные, интересующиеся и неглупые как-то само собой, автоматически приписывают социализму все хорошее. Это даже чаще всего и не обсуждается, а принимается как определение. Конечно, весьма существенно, что у нас социализм вводится насильственно, а здесь, вроде бы, нет. Существенно, что здешние социалисты не собираются вводить "социальную справедливость" любыми средствами. Но становится ли от этого социализм синонимом всего хорошего?

Я уже перечислил ранее несколько его несомненно отрицательных сторон. Но ведь этот список далеко не исчерпывающий. Одно из наиболее отрицательных последствий -- это, безусловно, как бы передача своей личной ответственности в руки государства, что равносильно отказу от этой ответственности, а вместе с ней и

своей свободы. Ведь эти две вещи неразрывно связаны. Скажем, нормальный человек понимает, что он должен помогать тем, кому хуже. Но вот, стремясь к институциональному равенству, мы передоверям эту функцию государству и теперь уже оно обязано заботиться о нуждающихся. Это уже не мое дело, я ведь плачу на это налоги. В результате моральный долг помощи превратился в юридическую обязанность, а я лишился права решать, кому я хочу помочь, а кому нет. Во-первых, мне становятся безразличны человеческие беды -- я от них откупился. Во-вторых, нуждающиеся теперь не помощи ждут, а требуют положенного, которое принадлежит всем, т.е. никому. Число желающих нуждаться таким образом растет. В-третьих, мое участие в жизни общества становится пустой формальностью: я ведь не контролирую распределения налоговых денег. В-четвертых, самое скверное, -- чудовищно растет бюрократия, усиливается роль государства, что съедает значительную часть денег, (а, стало быть, растут налоги).

Вообще неизбежная черта социализма -- это рост бюрократии. Мы, как бы, перестаем доверять самим себе, своему чувству долга, справедливости, способности решать свои проблемы. Государство, в лице бюрократии, становится нашим арбитром, контролером и, в конце концов, угнетателем. А как еще установить бóльшую справедливость, бóльшее равенство, если не через "нейтральных" лиц -- чиновников? Особенностью же бюрократии является ее тенденция расти в геометрических пропорциях. Это

некий Франкенштайн нашего времени, который начинает существовать сам по себе, подчиняясь каким-то неведомым нам законам, стремясь к неведомым нам целям. Чиновник везде одинаков. Его не интересует дело, которое он, вроде бы, поставлен делать. Его интересует собственное существование. Отсюда -- неэффективность и коррупция. Чтобы заставить его работать и при том оставаться "нейтральным", приходится создавать "контрольные органы", т.е. новых чиновников. Любопытно, что еще Момзен в своей "Истории древнего Рима" отмечает весьма правильно свойство всех контрольных органов -- а именно тенденцию покрывать подконтрольных. Ведь контрольный орган не просто контролирует, он еще и отвечает за то, чтобы у подконтрольных все было в порядке. Если же обнаруживаются серьезные недостатки, то ответственность ложится и на контролеров. Таким образом, приходится создавать новые и новые контрольные органы, последовательно контролирующие друг друга. Бюрократическая машина растет день ото дня, отчего равенства и справедливости ничуть не больше. В идеале, (как это и есть в СССР), все население превращается в чиновников, возникает страна всеобщей бюрократии, чему при социализме особенно способствует национализация.

Все это, разумеется, стоит огромных денег, стало быть, растут налоги, бьющие в первую очередь по наиболее здоровой части общества -- в этом же и заключается справедливость, а как же! Интересно отметить, что, достигнув опре-

деленных размеров, бюрократический аппарат начинает пытаться контролировать все и вся: по какому-то закону кибернетики он иначе уже не может справляться со своими функциями. Теперь уже вы кровно заинтересованы в коррупции, потому что иначе просто невозможно жить. Беда, коль чиновник при социализме не берет взяток. Любая, самая маленькая жизненная проблема становится практически неразрешимой.

Для пущей справедливости и чтобы хоть както упорядочить работу аппарата, государству приходится издавать кучу законов, инструкций и приказов, в которых простому смертному уже не разобраться. Посмотрите, например, уже сейчас, чтобы заплатить налоги, гражданину нужно нанимать специальных юристов, если только у него самого нет специального образования. Иначе он рискует, как в Швеции, получить 101% налога. Бюрократическое государство стремится всех сделать бюрократами. Нужно все время собирать какие-то бумажки, счета, доказательства ваших расходов и доходов, нужно все время писать какие-то бумаги, заполнять бесчисленные бланки, постоянно чувствовать себя в роли подозреваемого и оправдывающегося. Спрашивается, а почему? Почему для исполнения своего простейшего гражданского долга человек должен нанимать чиновника или сам таковым становиться? А все ради справедливости и равенства.

Вот это самое социальное равенство, которое почему-то всегда создается за счет разрушения хорошего, а не за счет улучшения плохого. Я не знаю почему. Видимо, так проще. Ломать – не

строить. Ведь если у вас хороший дом, а у соседа -- плохой, то для достижения равенства легче испортить ваш, чем улучшить соседский. Если у вас больше денег, чем у ближнего, то проще разорить вас, чем обогатить ближнего. Скажите, я преувеличиваю? Ничуть. Вот, например, в Англии есть частное образование, которое считается хорошим, и государственное, которое считается плохим. Что нам предлагают специалисты? Конечно же, ликвидировать хорошее. Пусть лучше никому, чему кому-то. Это ведь тоже равенство. Так оно, в конце концов, и достигается во всех социалистических странах -- за счет всеобщей, равномерной нищеты.

В начале нашего века "передовая идея" заключалась в развитии техники, промышленности, науки и была неотделима от понятия прогресса, гуманизма и социализма. Тот, кто считал, что слишком опасно нарушать природное равновесие, разумеется, являлся реакционером и врагом человечества. Сейчас, более полувека спустя, "передовая идея" против технического прогресса и промышленности за естественность, сохранение окружающей среды -- и опять почему-то неотделима от гуманизма и социализма. Вряд ли хоть кто-нибудь среди толп молодежи, штурмующих атомные электростанции во имя социализма, догадывается, что вера в природное равновесие абсолютно несовместима с этой идеей, что эта идея целиком противоестественная, построенная на вере в способность человека искусственно перестроить мир, как бы исправить несовершенство природы.

Скажем, в СССР, где все понимается буквально и воплощается на практике, переделка природы стала одной из основ построения социализма. Едва ли осталась хоть одна крупная река, у которой бы не изменили течения, не построили плотину или искусственное море, а понятие классовой борьбы и защиты угнетенных перенесли даже на диких зверей. Волк, например, хищник, вроде капиталиста, угнетающий зайцев, оленей, и т.п. Значит, бей его! Однако, истребивши волков, вдруг обнаружили, что и зайцы с оленями стали дохнуть в угрожающих размерах. Проведенное исследование показало, что волк, оказывается, "санитар леса", уничтожающий лишь больных, слабых, нежизнеспособных животных, предотвращая этим эпизоотии и вырождение. Пришлось искусственно разводить волков, чтобы предотвратить умирание их жертв. Все в природе оказалось нужным, даже бедствия. В Америке, например, одна разновидность птиц может плодиться только на местах бывших лесных пожарищ. Но вот благодаря эффективному контролю число лесных пожаров сократилось и птица стала вымирать. Пришлось устраивать пожары, чтобы спасти ее.

Так почему же мы один принцип применяем к природе, другой -- к человеческому обществу и все это вместе именуем социализмом? Почему мы считаем нужным оберегать природное равновесие и разрушать социальное, с уверенностью, что в обоих случаях поступаем гуманно? И почему бы нам, прежде чем злобиться на материальные ценности, штурмовать электростанции и

кричать о несправедливости, не подумать хоть немножечко? Ведь, как уверяют математики, и неравенство может быть справедливым.

* * *

Не знаю, быть может, мы, пожившие при социализме, обжегшись на молоке, дуем на воду. Быть может, действительно, здешний социализм какой-то другой, и результаты у него будут другие. Только, отмечая постоянно зловещее сходство -- людей, заблуждений, попыток, мы испытываем чувство нарастающего беспокойства. Ведь все то, что грезится здешним специалистам новинкой, новой прогрессивной идеей, уже пробовалось в России. И если от того впоследствии отказались, то это произошло не из-за извращений социализма, как здесь считают, а из-за того, что "новинки" оказались абсолютно нежизнеспособными. Полувековой жестокий эксперимент не переделал человеческой природы. Теперь уж и наука соглашается, что "бытие определяет сознание" только процентов на 25.

Я далек от мысли отрицать саму проблему. Действительно, неограниченная конкуренция неизбежно приводит к крайностям, которых цивилизация потерпеть не может. Борьба за существование, конечно, приводит, к отбору наиболее приспособленных, но, вот беда, что же будет с неприспособленными? С другой стороны, искусственное социальное выравнивание приводит к вырождению. Оно как бы толкает к паразитизму. В нынешней западной жизни все располагает

к этому. Гораздо легче теперь жить на пособия, целиком завися от государства. Но как только человек пытается стать на ноги, обрести независимость, все начинает работать против него. Тысячеголовое чудовище государства тут же начинает гнаться за ним, как за преступником, грабя его на каждом повороте, и не успокоится, пока опять не сделает его зависимым. Роль нашего КГБ осуществляется здесь отчасти гигантским аппаратом фискального ведомства, с которым всякий самостоятельно зарабатывающий человек находится в состоянии перманентной войны. Дело тут уже не в деньгах или богатстве -- идет смертельная борьба человека за независимость, которую социализм не терпит.

Я, например, уверен, что живи я в Швеции, уже давно бы сидеть мне в тюрьме. По их законам, всякая общественная организация субсидируется государством, то есть из денег налогоплательщиков. В Швеции же существует добрый десяток различных коммунистических "общественных" организаций, таким образом оплачиваемых людьми, ничего общего не имеющими с коммунистами. Будучи сторонником демократии, я вовсе не призываю к насильственному прекращению их деятельности. Однако одно дело -- терпеть их существование как неизбежное при демократии зло, другое -- оплачивать их деятельность из своего кармана. Этого я не стал бы делать даже под страхом смертной казни. Принцип моей жизни -- неучастие в зле, для меня очевидном. За этот принцип я отсидел 12 лет в СССР и, боюсь, не вылезал бы из тюрем в Швеции.

Строго говоря, чтобы избежать насилия над совестью, государство должно бы предоставлять каждому список общественных расходов, на которые оно собирает налоги, а человек должен иметь право выбирать на что он их дает, а на что нет. Спрятавшись в анонимность, шикарно именующуюся "общим благом", социализм стремится сделать нас безответственными паразитами или поставить вне закона. Здесь это происходит лишь медленнее, незаметнее, а потому опаснее, чем в СССР.

Социализм -- модная идея, имеющая мало смысла. Людям просто хочется, чтобы хорошее и недостижимое именовалось этим словом. Теперь даже стали говорить, что-де первые христиане тоже были социалистами -- они же выступали за равенство. Не знаю. Меня ссылка на христианство как-то мало убеждает. Если одна утопия ищет и находит подтверждение в другой, это не делает ее более правильной. К тому же, как говорит один мой друг, сходство это чисто поверхностное: христиане ведь предлагали делить свое и добровольно, а социалисты -- чужое и принудительно. Ну, а добровольно можно делиться безо всякого социализма. Для этого и бюрократии не нужно, и мир был бы куда добрее.

В сущности, я никогда не мог до конца понять социалистов. Верить в то, что люди равны (или хотя бы желали равенства), может лишь человек, живущий фантазиями, а не реальным наблюдением людей. Ведь даже однояйцевые близнецы, вместе выросшие и воспитавшиеся, равны не абсолютно. Да и зачем это? Разве ин-

тересно жить в мире одинаковых людей? И почему обязательно так болезненно реагировать на неравенство материальное? Откуда у социалистов столько зависти, столько меркантильности? Ведь большинство их -- интеллигенты, живущие в мире идей, а не вещей. Их теория удивительно непоследовательна: с одной стороны, они вечно критикуют потребительство, материализм и корыстность, с другой -- именно этот аспект жизни волнует их больше всего, именно в потребительстве им хочется установить равенство. Неужели они верят, что, если каждому выдавать по равной пайке хлеба, все сделаются братьями? Братьями людей делают общие страдания и общие надежды, взаимопомощь и взаимоуважение, признание личности друг в друге. Неужели могут стать братьями люди, ревниво считающие доходы друг друга и завистливо провожающие взглядом каждый кусок, проглоченный соседом? Нет, не хотел бы я иметь братом социалиста.

Пора, наконец, понять, что никакое общественное переустройство не избавит нас от проблем, рожденных нашими природными особенностями, недостатками и достоинствами. Пора взрослеть и избавляться от детских иллюзий XIX века. Пример их воплощения у нас перед глазами, их последствия очень легко предсказать.

Два явления, которые неминуемо должны рано или поздно появиться в социалистической стране: черный рынок и полная потеря рабочих навыков. Часть населения просто отучается ра-

ботать, потому что нет смысла: равенство не позволяет ему заработать больше установленного, а администрация -- выгнать его или заставить работать. Другая часть населения, более предприимчивая, ищет нелегальных путей приработать. Если в странах Восточной Европы черный рынок стал вполне уважаемой и почти признаной институцией, в таких западных социалистических странах как Швеция уже возник "черный рынок труда". Желающий заработать, отработав свои официальные часы на официальной работе, вечером идет куда-нибудь в ресторан официантом, не объявляя, конечно, об этом в своих налоговых декларациях. Дело лишь в масштабах: чем больше в стране социализма, тем больше черный рынок.

Разумеется, государство пытается бороться с такой "антисоциалистической" деятельностью. Растет сыскной и карательный аппарат, растет духота в стране. Какое уж тут братство! Наиболее предприимчивая часть населения начинает понемногу смываться за границу, где еще не так много социализма. Соответственно, убегают лучшие специалисты из всех областей. Это, первым делом, сказывается на качестве товаров и услуг. Соответственно, по означенным выше причинам, растут внешние и внутренние долги, займы, сложности...

Вот теперь построение социализма западного образца практически закончилось. Дальнейшее целиком зависит от социалистов. Чтобы заставить создавшуюся систему работать, нужно:

а) закрыть границу;

б) сделать труд принудительным;

в) усилить репрессии против "антисоциалистических элементов", включая создание концлагерей для использования их труда;

г) запретить политическую активность, оппозиционные партии, закрыть слишком независимую прессу.

Не беспокойтесь, к революции это не приведет. Народ вас поймет, ведь надо же спасать страну из бедственного экономического положения. Согласитесь, это ведь в интересах трудящихся...

Конечно, западные социалисты -- слишком порядочные люди. Они не пойдут на это. Конечно, оппозиционные партии попытаются спасти страну иными способами. Но -- и тут выясняется самое важное в социалистическом эксперименте -- он необратим. Невозможно вновь людей приучить работать, для этого нужна смена целого поколения. Невозможно отнять то, что люди считают своим. Так мы устроены: дать бесплатное молоко легко, отнять невозможно. Непопулярно. Невозможно уволить с работы лишних или неспособных. Принять можно, уволить нельзя -- рабочие места не должны теряться. Для чего же тогда и вообще существует экономика. Невозможно вернуть сбежавших специалистов. Неоткуда отдать долги и займы. Невозможно сократить налоги, вернуть смысл работе, невозможно сократить бюрократию. Посмотрите на Англию, на отчаянные попытки консерваторов спасти страну. Поглядите, как сопротивляется бюрократия. Правительство не может приказать местной власти сокращать чиновников, а не услу-

ги. Оно может лишь сократить бюджет. Остальное — в руках этой самой бюрократии, и уж себя-то они не сократят. Всех сократят, одна бюрократия останется. Более того, еще и вырастет, потому что для проведения сокращений нужны новые специальные органы. Даже Хрущев в свое время не смог победить бюрократию. Что ни делал — она только росла. Разъединил обкомы на промышленные и сельскохозяйственные -- штат увеличился в два раза. Соединил их вновь -- опять вырос в два раза. Даже Хрущев сдался, понял, что будет только хуже.

Стали ли в Англии лучше работать? Согласились ли не требовать больше денег? Не знаю, что-то незаметно. А впереди -- впереди маячит Тони Бен, этакий английский Суслов, и всеобщая национализация. Эти уж тут как тут, словно вóроны.

Вот мы и добрались до последнего "недостатка" социализма -- экономически, идеологически, психологически он подготавливает легкий переход к власти коммунистов. Так сказать, открывает им дверку.

* * *

> Ah, mon cher, for anyone who is alone, without God and without a master, the weight of days is dreadful. Hence one must chose a master, God being out of style.
>
> *Albert Camus, "La Chute"*

Любопытно, что в наше время большинство коммунистов, да и социалистов тоже, никакого отношения к рабочим не имеют. Это интеллигенция, люди "среднего класса", как тут принято говорить, часто весьма богатые или дети богатых, и чем богаче, тем левее, чем левее, тем богаче. Это вообще какое-то правило на Западе. Мне поначалу доставляло некоторое эстетическое удовольствие слушать их рассуждения о страданиях "трудящихся". Что это? Комплекс вины или поза, глупость или щекотание нервов?

В Англии я почему-то эту публику особенно не люблю. Во Франции или Италии, хоть их и больше, однако процент просто наивных, честно заблуждающихся среди них гораздо выше. По крайней мере, с ними можно говорить – слушают, спорят, начинают думать. В Англии и вообще-то политика подчинена клубной психологии. Был такой анекдот об англичанах в свое время: один английский моряк попал после кораблекрушения на необитаемый остров, где и прожил двадцать лет. Наконец, случайно забредший корабль спас его. Перед тем, как покинуть остров,

решил моряк показать своим спасителям, как он жил, работал, коротал время.

-- Вот этот шалаш -- мой дом, где прожил я двадцать лет, -- показывал он гостям. -- В этом шалаше был мой клуб, куда я ходил по вечерам коротать время...

-- А это что за шалаш, там, на холме? -- спрашивают гости.

-- Этот? Это клуб, который я игнорирую...

Пожалуй, это один из немногих анекдотов об англичанах, который действительно соответствует истине. Клубная психология здесь развита необычайно, особенно в политике. Сторонники различных партий могут жизнь прожить бок о бок да так и не встретиться, не познакомиться, тем более не говорить откровенно. У каждого здесь свой "клуб", своя группка, своя газета. Замкнутость почти герметическая. И если побывал у одних, к другим лучше не суйся.

Случилось так, что по приезде в Англию меня хорошо приняли консерваторы, бывшие тогда в оппозиции. Со многими из них я просто подружился. Конечно же, повинуясь клубной психологии, противный клуб зачислил меня в число людей, коих следует игнорировать. Долгое время я просто никого из них не встречал, будто их в Англии не существует. Но время шло, консерваторы пришли к власти, высадив противников в оппозицию, да и любопытство брало свое. В общем, мой остракизм стал неполным, не герметическим, и понемногу смог я познакомиться с представителями другой половины английского населения. Да ведь и газеты их доступны в общей продаже.

Грубо говоря, можно разделить этих людей на две категории. Первая -- рафинированные интеллигенты, профессоры, журналисты, блестящие собеседники, острословы, знатоки литературы и искусства, тонкачи хоть куда, уж такие тонкачи, что просто тоньше комариного х..., как говорили у нас в лагере. Однако, вот клубный дефектец: скажем, что Гитлер, что Черчилль -- для них одно и то же. И спорить бесполезно: моментально скучающий взгляд, подернутый поволокой. Советский Союз -- конечно, слышали, читали, знают, даже каких-то второстепенных советских авторов могут процитировать. Но вывод: ах, бросьте, везде хуже.

Другая, более многочисленная часть состоит из молодых (или молодящихся) людей, старательно рядящихся под рабочих, хотя за всю жизнь они не поднимали ничего тяжелее бутерброда. Разумеется, все эти тужурки, комбинезоны и нарочито простонародный говор последнего скрыть не могут. Характерно, однако, что в противоположность первой категории, эти псевдопролетарии отличаются невероятным невежеством. По-моему, кроме пропагандистских брошюрок, они ничего не читают, ибо, несмотря на теперешнее обилие литературы, среди них упорно живут самые невероятные легенды и предрассудки. Они всерьез, точно новейшее открытие, повторяют пропагандистские клише пятидесятилетней давности об отсутствии безработицы в СССР или о повальной неграмотности в предреволюционной России. Спорить с ними и скучно, и бесполезно -- они просто физически

неспособны воспринимать информацию, противоречащую их вере. Говорить с ними о противоречивости самого марксизма не имеет смысла, так как ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина большинство из них никогда не читало.

Как всякая религия, коммунизм не нуждается в логических доказательствах и не может быть поколеблен ими. Напротив, чем невероятней, тем сильней вера, а примеры отдельных неудач, конечно же, никак саму идею не уничтожат: ведь если священник грешен, это не доказывает, что Бога нет. Не в СССР, так на Кубе, не на Кубе, так в Китае или, в крайнем случае, на обратной стороне Луны. И что бы там ни говорили реакционные астрономы или космонавты, их россказни не могут поколебать нашей светлой веры в Лунное общество нового типа -- без инфляции, безработицы, нищеты и конфликтов. Во всяком случае, партию Лунатиков это никак не смутит. Знание, если оно доступно, пробивается через такой психологический барьер с большим трудом, внося лишь незначительные поправки в основную жизнь.

Человек -- концептуальная машина, то есть машина, создающая концепции. Чем она совершенней, тем легче ей пристроить противоречивые факты в свою концепцию. Рабочий, поживший пару месяцев в СССР, как правило, поймет все гораздо быстрее, чем интеллигент за целую жизнь. Последний всегда найдет оправдание виденному. В 30-е годы практически вся информация, содержащаяся в трех томах "Архипелага ГУЛаг", была вполне доступна на Западе.

-- Что ж, -- говорили тогда, -- рождение ребенка тоже сопряжено с человеческими муками, страданиями и пролитием крови. Но посмотрите, какой потом здоровый ребеночек растет.

В 40-е годы что угодно оправдывалось борьбой против фашизма, в 50-е -- послевоенными трудностями. За последние 15 лет обилие информации о "диссидентах" и их преследованиях породило лишь новую иллюзию.

-- Ну что же, -- говорят теперь, -- быть может, интеллектуалам там и плохо, зато рабочие имеют преимущества. В конце концов, сколько этих самых диссидентов? Несколько тысяч, может быть. Зато там нет безработицы, инфляции и эксплуатации.

И, как водится, уже готова целая теория о примате социально-экономических прав над гражданскими. Дескать, какая польза рабочему в свободе печати, если он голоден?

Однако, словно в насмешку, события в Польше минувшим летом задали новую загадку неутомимым строителям Великой Концепции.

В самом деле, миллионы рабочих не только развеяли миф о социально-экономическом благополучии на обратной стороне планеты, но еще почему-то очень настаивали на свободе печати, религии и освобождении из тюрем тех самых "диссидентов", которые, вроде бы, совсем не существенны. Привело ли это кого-нибудь в чувство? Ничуть. Совсем напротив:

-- Вот видите! Вот видите! Все-таки *рабочий класс*, а не какие-то там диссиденты, оказался в авангарде. Все-таки наша концепция верна!

Конечно, число этих энтузиастов периодически сокращается, и только самые умные остаются неизменно верны, уж такие умники, такие тонкачи, что все могут объяснить. Одна из характерных черт нашего времени – это заметное усиление реалистических тенденций среди той части общества, которая по традиции именуется "левой". Все меньше иллюзий, все больше интереса к подлинной информации, больше трезвости. Особенно заметно это во Франции и Италии, где компартии достаточно сильны, чтобы превратить мечту в политическую реальность. Ответственность, а то и непоправимость такого поворота заставляет многих спуститься на землю. Но надолго ли? Мой знакомый, давно живущий в Париже, говорит, что в 56-м, после Венгрии, вся Сена была усеяна партбилетами и то же самое повторилось в 68-м после Чехословакии, однако уже через пару лет каждый раз неизменно пополнялись стройные ряды строителей Нового Будущего. Думаю, во Франции трудно найти человека, который бы в молодости не был в их числе, а повзрослев, разочаровался, и это ничуть не повлияло на новые поколения. Словом, это некая юношеская болезнь, нечто наподобие подросткового онанизма (у них слишком затянувшегося).

В известной мере этот энтузиазм основан еще на этаком шовинистическом высокомерии: *у нас* такого быть не может, не то что у каких-то азиатов. Боюсь, это высокомерие не слишком оправдано: медленная, но неумолимая социализация западных стран постепенно превращает раз-

витые страны в слаборазвитые. Такова историческая задача социализма. Малая численность большинства европейских компартий тоже утешение весьма слабое – в России в 1917 году было всего 40.000 большевиков на 17 млн. населения. Вера в особую "цивилизованность" европейцев просто наивна – история показала, что европейцы столь же легко и охотно режут горла европейцам, как азиаты азиатам, если находится достаточно благой повод.

Словом, если наша боязнь ответственности, наше стремление к социальной безопасности ведет нас к иллюзиям, а иллюзии к социализму, если социализм открывает двери коммунизму, то коммунизм столь же неизбежно открывает дверь советским танкам. И закрыть потом эту дверку еще не удалось никому. Пока что она лишь все больше и больше открывается.

ГЛАВА О ДЕРЬМЕ

"I hear today—finally—what happed when Nixon met Khrushchev that morning in the Kremlin. Khrushchev opens up strong. He tells Nixon he knows about him, knows he is an enemy of Communism of the Soviet Union, that he is the White Knight of Capitalism.

Nixon replies: He is a defender of capitalism, yes, but he began life as a poor boy, growing up on a small orchard in California, doing all the chores. Khrushchev rejoins that he himself started life as the poorest of the poor. He, Khrushchev, was a bare-foot boy. He shoveled shit to eat a few kopecks.

Well, says Nixon, he too was a poor boy; he too went barefoot; he too shoveled shit.

Khrushchev snorts. So what kind of shit did Nixon shovel? Horseshit, Nixon replies. That's nothing, says Khrushchev. Shoveling horseshit is nothing. He shoveled cowshit. Much worse. Stinks. Sloppy. Gets on your feet and between your toes.

Nixon: I too had to shovel cowshit. Khrushchev seems skeptical. Perhaps Nixon shoveled cowshit once or twice. But animal shit is nothing. He had to shovel *human* shit. That is the worst.

Nixon does not try to stop Khrushchev on this. He leaves the Kremlin in a state of shock."

Harrison E. Salisbury
My Nixon File. "Esquire"
September 1980

Конечно же, Хрущев был прав -- американскую бедность вряд ли можно даже сравнить с нашей. Что же касается дерьма, то трудно себе представить лучшего специалиста по данному вопросу, чем глава советского государства: все его занятие как раз и сводится к сортировке человеческого дерьма, экспертами по оттенкам которого все мы невольно становимся при социализме. Куда уж тут Никсону угнаться за нами!

Этот диалог между главами двух противостоящих миров кажется мне весьма символичным, в особенности его результат -- быстрое отступление Никсона "в состоянии шока". Так кончились пока что практически все столкновения двух миров -- соревнование в подлости и в "грязных трюках" еще ни разу не принесло успеха Западу.

Конечно, демократии и вообще-то трудно соревноваться с тоталитарным государством, которому неограниченная власть позволяет, например, сконцентрировать все гигантские ресурсы страны для такого соревнования, фактически подчинить всю жизнь решению этой задачи. Люди могут ходить голодные и раздетые, элементарные удобства и предметы обихода могут начисто отсутствовать, но армия будет снабжена по последнему слову техники, а добрая половина бюджета будет тратиться на подрывную деятельность против врагов и укрепление союзников. Разве может демократическое государство заставить все свое общество, всю печать, церковь, дипломатию, искусство, спорт и т.д. служить целям пропаганды, дезинформации, разведки и окончательной победы любой ценой? Разве можно даже во-

образить себе такую полную цензуру и секретность при демократии, какая десятилетиями существует у нас? Скажем, в разгар вьетнамской войны отправка каждого американского батальона в Сайгон в тот же день широко обсуждалась прессой, у нас же целый огромный военный завод взорвался на Урале, а слухи об этом дошли до Запада лишь через несколько лет.

Соответственно, люди, выросшие в наших условиях, приучены к совершенно иным представлениям, реакциям, нормам. В тоталитарном государстве человек существует для некой цели, даже если он в нее и не верит; при демократии человек существует для своего собственного удовольствия. Поди, заставь его идти на жертвы для каких-то абстрактных целей. За все годы войны во Вьетнаме американцы потеряли около 50 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько у них ежегодно гибнет на дорогах в автомобильных катастрофах, и это вызвало всенародную антивоенную истерию, почти революцию. За один год войны в Афганистане советские потеряли тысячи убитыми, и никто даже об этом не говорит. У нас просто другие масштабы, другие критерии, и, пока счет не пойдет на миллионы, реакция населения будет пассивной.

Жизнь на Западе слишком хороша, удобна и полна удовольствий, чтобы не только соглашаться умирать где-то в джунглях, на краю света, но даже испытывать неудобства военной службой в мирное время. Достаточно было Картеру лишь намекнуть на возможность восстановления учетных карточек, как тысячи молодых людей вы-

шли с плакатами: "Нет таких ценностей, за которые нужно было бы умирать". А в то же время любой советский парень, достигши 18 лет, безропотно идет служить в армию, где условия и дисциплина не чета американским. Никто его не спросит, хочет ли он убивать или быть убитым. Никто не поинтересуется, считает ли он правильными действия своего правительства. Отказаться он не может, если не хочет быть посланным в лагерь или (в военное время) быть расстрелянным за "измену Родине". И это все уже давно никого не удивляет, не возмущает, а принимается как должное.

Западный мир и добрее и гуманней, ему труднее смириться с неизбежностью жертв. Одна незначительная, на первый взгляд, деталь в сообщениях о неудачной американской попытке спасти заложников в Иране поразила меня. Убедившись в провале и гибели восьми своих солдат, полковник, командовавший операцией на месте, сел и заплакал. При всем усилии я не могу себе представить советского полковника плачущим при исполнении боевого задания, каковы бы ни были потери. Эти же полковники во Вторую мировую войну гнали под пулеметами сотни тысяч безоружных и необученных подростков против немецких танков на верную гибель, лишь бы заткнуть дырку на фронте, и ни один не плакал. Так была выиграна эта война -- на одного убитого немца приходилось примерно по десять русских. Что же случится с американским командованием, если, скажем, ядерная бомба взорвется в Нью-Йорке? Пентагон, наверное, зальется

слезами, река Потомак выйдет из берегов, а население Вашингтона придется спасать от потопа. Да простит мне читатель этот жестокий пример, но без него трудно объяснить психологию советских вождей, их восприятие Запада, их настроения. В советском представлении западный человек изнежен, воевать не способен, не хочет и не будет. Только наивные американцы могут верить с детским восторгом в то, что воевать за них будет их чудо-техника, какие-то невидимые самолеты, непробиваемые танки и нетонущие корабли. Перенесши две мировые и одну гражданскую войны на своей территории, у нас знают: техника, конечно, вещь нужная, но воюют-то и решают войну люди.

Дело вовсе не в том, что Советский Союз жаждет начать мировую войну. Отнюдь нет. Ни та, ни другая стороны, разумеется, не хотят взаимного уничтожения, но "нехотение" это совершенно различное. Во взаимном шантаже (или блефе) побеждает ведь тот, кто меньше всего боится проиграть (или делает вид, что меньше боится). Сейчас вот специалисты много спорят, собирается ли СССР первым нанести ядерный удар. Конечно, любой Генеральный штаб разрабатывает альтернативные планы на всякие случаи, но, рискуя противоречить специалистам, беру на себя смелость утверждать, что применять такой план на практике советские вряд ли собираются (во всяком случае, до тех пор, пока шанс ответного удара равновелик). Зачем им этот неоправданный риск? Гораздо разумней постоянно ставить противника перед таким тяжким

выбором: нажимать — не нажимать кнопку, самим же тем временем расширять "освободительное" движение вглубь Азии, Африки, Латинской Америки. Решится противник нажать кнопку — получит ответный удар, и будет проклят общественным мнением, не решится — еще того лучше. Вот они и строят гигантские подводные лодки, авианосцы, увеличивают десантные войска, готовясь к дальним странствиям. Перед ними почти весь мир лежит безоружный. Неужто американцы решатся на уничтожение земного шара из-за какого-нибудь Тайланда, Намибии или даже Швеции? Ведь не решились же из-за Анголы, Эфиопии и Вьетнама. Они для этого слишком человечны.

Если с точки зрения Запада всякая война плоха, а потому нужно избегать конфликтов, смягчать противоречия и постараться достичь некоего равновесия, то для советских войны делятся на "справедливые" и "несправедливые" (те, что в интересах сил социализма и те, что против этих интересов), а атмосфера конфликтов, противоречий и нестабильности нужны им, как вору — покров ночи. То есть один по самой природе — хищник, другой — его жертва; один постоянно в наступлении, другой — в обороне. По этой и многим другим причинам, о которых речь пойдет дальше, инициатива постоянно находится в руках советских: они выбирают, где и когда раздуть конфликт, как и когда предложить ослабление напряженности. Инициатива — необычайно ценный фактор в любой игре. Шахматист, например,

вам скажет, что инициатива стоит целой фигуры, а то и двух. В войне она стоит доброй армии, в политике -- лучше надежного союзника. Ну, а тот, кому инициативу навязали, попадает в такое положение, когда что ни сделай -- все плохо, все проигрышно.

Мы часто ломаем себе голову, как это советские так ловко умеют внедриться в "стратегически важные" районы мира, не замечая, как обманчиво это впечатление. Просто любой район немедленно становится стратегически важным, как только туда влезли советские. В этом смысле их стратегия удивительно проста: они берут все, что "плохо лежит", заполняют любую пустоту, неосмотрительно оставленную их противниками. А таких пустот сколько угодно. Словно волки, атакующие стадо коров, они норовят ухватить кого послабее, помоложе, побеспомощней, а мы чешем в затылке -- какой же у них теперь стратегический план? Куда они метят? Нужно признать, что Запад ведет себя в этой ситуации гораздо хуже коров. Те, по крайней мере, знают, что волк есть волк и волчья его утроба требует мяса, что уговорить волка добром отказаться от своих привычек не удастся, а никакие договоры с ним невозможны; что в такой опасной ситуации нужно держаться всем вместе, а не разбредаться кто куда, и особенно оберегать слабых и глупых, коих любопытство подталкивает поиграть с волками; что, наконец, обороняться надо вкруговую, а не только с той стороны, где волков видно, ибо один из них непременно зайдет с тыла и притаится в засаде. Главное же, уж

коль завелись волки на наших тучных пастбищах, то нужно отказаться от многих радостей жизни, чтобы выжить.

Но вот беда – что годится быку, то не годится Юпитеру, а что понятно корове, то никак не постичь человеку. Корова – существо простое и при виде волка ее просто охватывает страх; человек же моментально начинает придумывать теории и концепции, доказывающие, что либо волка нету, либо опасности никакой он не представляет (а что теленочка уволок, так это от голоду), либо уж коль предстоит нам быть съеденными, то пусть медленно и с аппетитом, а не сразу и до тошноты. В общем, в отличие от коров, есть у нас такое стихийное бедствие, как:

а) дипломаты;

б) профессора политических наук (что бы это такое значило, озадаченно спросит читатель) и прочие советологи;

в) политики от торговли, или торговцы от политики, или черт их разберет кто. Словом, силы мира;

г) большое количество умников, считающих, что быть съеденным волками очень прогрессивно.

Да чего у нас только нет! В результате их совместных усилий до рядового обывателя пока что так и не дошло, что он живет в ситуации смертельной опасности и что нужно все остальные свои проблемы, проблемки и проблемочки подчинить одной – *как выжить?*

* * *

Эту печальную историю даже не знаешь с чего начать, быть может потому, что у нее, строго говоря, нет начала. Корнями она уходит, с одной стороны, в глубь истории, с другой — в дебри человеческого подсознания.

Описать ее коротко значит сознательно упрощать, а, стало быть, делать уязвимой для критики; описать же во всей подробности никакой бумаги не хватит, а кто же теперь читает длинные истории? Так или иначе, но XX век принес нам некое новое явление, принципиально новое по своей природе и нет у нас никаких готовых рецептов поведения. Попытка отыскивать параллели в истории только еще больше запутывает. Основная беда западной дипломатии именно в том и состоит, что ее основные концепции принадлежат XIX веку. Эти концепции оказались не в состоянии спасти нас от катастроф XX-го, так же как психология и мораль общества XIX века их прямо подготовила.

Аксиомой классической дипломатии является принцип стабильности и компромисса: всякое соседнее государство должно получить признание, если установленная там власть достаточно стабильна; цель дипломатических отношений — укрепление мира и сотрудничества, а возникающие противоречия должны разрешаться при помощи взаимных компромиссов. Этот румяный прагматизм наших дедов и прадедов зиждился на ”признании реальности”, а не на создании ее: если в соседнем государстве ”стабильная”

власть узаконила людоедство, это, конечно, достойно сожаления, однако никак не может повлиять на задачи дипломатии. Суверенитет соседа должен уважаться, вмешательство во внутренние дела недопустимо. Даже с самым беспокойным соседом "худой мир лучше доброй ссоры".

Однако, с появлением на свет идеологических, тоталитарных режимов эти, казалось бы, безукоризненно логичные установки, вытекающие из житейской мудрости и здравого смысла, оказались просто гибельны. Так же как в природе при достижении крайних условий наступают какие-то непредсказуемые аномалии, не логичные на первый взгляд, даже парадоксальные, так видимо, происходит и во взаимоотношениях человеческих. Сама логика, наверное, в экстремальных категориях несколько парадоксальна на первый взгляд. Ведь вот, сложив два числа, помножив и разделив, мы непременно получим новое. И так с любым числом, от нуля до бесконечности. Но стоит нам взять эти самые ноль или бесконечность, как все летит к черту – хоть множь их, хоть прибавляй или дели, результат тот же. Ну, с нулем еще куда ни шло, можно как-то себе представить, но вот чертова бесконечность никак не укладывается в нашем воображении.

Еще труднее оказалось представить себе тоталитарное государство. И чем нормальней человек, чем рациональней он пытается судить, тем хуже – ведь государство это рационально по своей природе, поскольку призвано служить осуществлению абсолютной идеи. Тот факт, что в

эту идею там больше никто не верит, от вождей до последнего солдата, ничего не меняет: идея (или, точнее, идеология) существует у нас не в умах людей, а застыла после полувекового кипения страстей в государственных структурах и институциях, в человеческом быте, в психологических реакциях, кажется, даже в самой атмосфере. Это тот самый случай из научной фантастики, когда идея отделилась от ее носителей, материализовалась и физически существует вполне независимо, во всем сущем.

Оспаривать эту идею никто не вправе – даже Главный Идеолог, потому что она единственно правильна по определению. Думать вы можете, что хотите, но любой оспаривающий ее открыто, тут же исчезнет из жизни. Люди, которые его заберут, будут ему сочувствовать и в утешение рассказывать антисоветские анекдоты. Судья будет сочувствовать ему еще больше и всячески выражать свою симпатию. Партийный чиновник, контролирующий всех предыдущих, тайно пожмет ему руку и шепнет: "Молодец!" Но он все равно исчезнет на долгий срок. А если этим отчаянным окажется Генеральный Секретарь, то завтра будет просто другой Генеральный Секретарь. Только и всего. Чем выше партийный чиновник по своему положению, тем больше он ненавидит идеологию. Но что он может сделать? Совершенно несущественно, что священник не верит в Бога – церковь от этого не рухнет. Неважно, что прихожане только делают вид, что лоб крестят, если в вашей деревне все

равно *принято* ходить к обедне, крестить детей, венчаться и отпевать покойников.

Создатели этого сюрреалистического государства определили цель его существования раз и навсегда, ибо нет никакого механизма изменить ее. Цель эта состоит в установлении "абсолютной справедливости" во всем мире, т.е. в распространении своей системы на весь земной шар. Это, собственно, даже не государство, а военно-диверсионная база, военный лагерь. Вся структура организована в соответствии с этой задачей и только в состоянии перманентной войны эта система может существовать. На Западе любят выражение "железный занавес", но если бы кто-то накрыл СССР непроницаемым колпаком, система бы рухнула в мгновение ока. Ей жизненно нужно сверхестественное напряжение, созданное сверхзадачей. Она фантастически нестабильна, неживуча, если ей не с кем враждовать. Для всякой идеологии нужен свой дьявол, для советской таким дьяволом является некоммунистический мир. Не важно, что никто уже не верит ни в Бога, ни в дьявола, каждый в отдельности ведь не знает, что все остальные тоже не верят. А и узнают -- ничего не изменится.

Заставив свой народ принести чудовищные жертвы, даже пожертвовав фактически существенной частью населения и продолжая требовать все новых и новых жертв ради мифической цели, что же делать теперь руководителям? Однажды севши на тигра, потом с него не слезешь. Малейшее колебание, малейший признак ослабления власти может оказаться роковым в этой скры-

той гражданской войне. Поэтому можно только расширяться, только побеждать.

Беда же в том, что западные люди убийственно нормальны и этой шизофрении им никак не понять.

* * *

— Я много встречался с русскими и никак не могу с вами согласиться, — говорит мне старый дипломат. — Они такие же люди, как и мы, вполне воспитанные, вежливые, образованные. И они так же озабочены укреплением мира, предотвращением ядерной катастрофы...

— Не наша забота пытаться изменить советскую систему, — говорит мне старый, уважаемый политик, бывший премьер-министр одной европейской страны. — Наша обязанность договориться с ними, поддерживать равновесие в мире.

— Советская Россия — это просто еще одна страна, а их международные авантюры — пережиток их колониалистских устремлений прошлого, — уверяет меня почтенный университетский профессор, специалист по России.

И как мне объяснить им, что они жестоко и непростительно заблуждаются? Как растолковать этим нормальным людям, что они имеют дело с душевнобольным государством, где отдельный человек ничего не значит, даже если он глава государства? Как доказать, что невозможно установить и поддерживать это самое равновесие, пока не изменится советская система? Причем здесь прошлое?

Ну, разве есть хоть какие-то национальные русские интересы во Вьетнаме или Анголе? Разве стал бы классический колониалист платить несколько миллионов в день какой-то Кубе, находящейся от него в 12 тыс. километрах, на другой стороне земного шара? Как вообразить себе, что если из бесконечности вычесть бесконечность, то останется ровно такая же бесконечность? Да ведь должна же она хоть чуть-чуть уменьшиться!

Легко понять, что получается при попытке применять методы и концепции классической дипломатии в отношениях с тоталитарным государством. Как признание "реальности" для гражданина такой страны означает прямое или косвенное соучастие в преступлениях власти, так и для иностранного государства это путь к зависимости и соучастию. Им ведь не нужны партнеры – им нужны сателлиты, так же как им нужны рабы, а не граждане.

Уже само дипломатическое признание тоталитарного государства демократическим – большая ошибка (подобная переговорам с террористами), ибо укрепляет его и обезоруживает морально вас, придает тоталитарной власти законность в глазах порабощенного ею народа и усыпляет вашу бдительность. Оно подталкивает другие государства последовать вашему примеру. Но самое главное – оно открывает дорогу "сотрудничеству", которое неизбежно вас ослабит, а их усилит: ведь они продолжают вести против вас скрытую (иногда и не слишком скрытую) войну, вы же, следуя традициям классической ди-

пломатии, вполне лойяльны и миролюбивы. Они вмешиваются в ваши внутренние дела, стремясь вас дестабилизировать любым способом, вы же этого делать не можете. И поправить свою ошибку уже трудно – одно дело не устанавливать отношений, другое дело их порвать.

Любое демократическое государство весьма уязвимо для желающих его дестабилизировать. Всегда есть какие-то неразрешимые проблемы, недовольные Бог знает чем меньшинства, оппозиционные группировки всех сортов. Наконец, невозможность в условиях демократии запретить вашему тоталитарному соседу просто создавать организации из своих агентов и вести открыто нужную им пропаганду. Вы же со своей стороны полностью лишены возможности отплатить соседу той же монетой. Незаметно в условиях тоталитарного государства этого не сделаешь. Открыто вам не позволят, да и как можно? Это же "недружественный акт". Словом, с самого начала устанавливаются отношения неравенства и двойных стандартов.

Сразу вслед за возникновением такого "сотрудничества" возникают и конфликты. Но ведь классическая дипломатия призвана разрешать их при помощи компромиссов. И тут вдруг выясняется, что компромисс в словаре вашего тоталитарного соседа плохое слово, почти ругательство. А как же иначе – ведь для идеологии компромисс с "дьяволом" означает преступление. На практике он, конечно, идет на компромиссы, но только такие, которые ему явно выгоднее, чем вам. Соответственно, ваша готовность ид-

ти на компромиссы воспринимается как бесхребетность, слабость, означает лишь, что от вас можно потребовать еще большего. Разница изначально весьма существенна: вы активно ищете компромиссов, они же лишь иногда на них милостиво соглашаются. Западные люди с самого детства приучены к тому, что компромисс -- это хорошо, готовность искать компромисса – залог успеха, и вдруг все оказывается наоборот. Демократия и вообще-то принципиально беспринципна, если можно так выразиться: поставленное перед выбором "жизнь или принцип", большинство людей здесь выберет жизнь. Отсюда столь поражающая нас готовность склоняться перед нефтяным шантажом, отсюда переговоры с террористами. Доходит до нелепостей. Нью-Йоркская полиция, например, рекомендует жителям, выходя на улицу, всегда иметь при себе десять долларов на случай встречи с грабителем, а то, не найдя денег, грабитель может с расстройства причинить вред своей жертве. Разумеется, при такой гарантированной добыче число грабителей неуклонно растет. Не могу даже представить ни такой рекомендации, ни такой покорности в советских условиях. У нас "отсталая" психология: такое поведение считалось бы у нас несмываемым позором. Вообще понятия чести и позора, кажется, здесь не в моде, считаются устаревшими. Скажем, ведущий политик одной из европейских стран, из постели жены которого вытащили советского шпиона, не только не застрелился (как полагалось бы лет сто назад), но даже и на пенсию не ушел, только пост сменил.

Все это, конечно, только укрепляет советскую уверенность в слабости Запада, а ”бескомпромиссная ленинская политика” утверждается в своей непогрешимости. Что же делать западным партнерам? Признавши одну ”реальность”, как не признать другую? Тем более, что за советскими с годами укрепилась весьма им удобная репутация ”нечувствительных к внешнему давлению” (”такие уж эти русские!”). К тому же, советские располагают ”фактором времени”, то есть попросту никуда не торопятся. У них впереди – вечность, у любого же западного политика какие-нибудь несчастные 4-5 лет. Здесь вообще принято, что если конкретная политическая линия не принесла скорых результатов, то ее нужно менять. Очень удобно для тоталитарных режимов: не нравится тебе этот политик или эта политика – сиди и жди более удобных. Вот так и оказывается у них в руках инициатива (та самая, что стоит двух фигур в шахматах).

Но и это еще не все. Ведь плодотворное сотрудничество только началось. Теперь нужно еще установить торговые связи. Торговля, как читатель без сомнения знает, является подлинным инструментом мира и укрепления добрососедских отношений. Тут уж никакого подвоха, никаких односторонних выгод. Мы им технологию, они нам лес. Мы им машины, они нам водку. Мы им автомобильный завод, они нам черную икру. Да но... теперь ведь новые времена, принято торговать в кредит, доверять партнеру. Стало быть, мы им технологи ю, машины, заводы, а они нам ... расписку. А кто от кого зависит: должник от

кредитора или кредитор от должника – определяется тем, у кого крепче нервы и больше наглости.

Торговля открывает неограниченные возможности для вмешательства во внутренние дела демократического соседа. Дать или не дать большой выгодный заказ вашей стране (или конкретной фирме), отчего уменьшится или не уменьшится безработица в вашей стране (или конкретном ее районе); а то вдруг после долгого "плодотворного сотрудничества" прекратить заказы в удобный момент, и безработица, наоборот, возрастет. Бывали и совсем курьезные случаи, – например, одна большая фирма получила огромный советский заказ *по ходатайству местной компартии* (то-то, чай, не за приятную улыбку). Опять же, вы им построите завод, а они продукцию этого завода будут вам продавать дешевле себестоимости.

Как ни наступает на пятки социализм, а все-таки велика еще коммерческая свобода на Западе. Через несколько лет уже и не разберешься, кто чем владеет, кому что принадлежит, да кто от кого зависит. Вам кажется, что это старая добропорядочная фирма, ан нет – она уже в кармане у советских.

Наконец, торговля трудно поддается ограничениям или контролю. Нельзя прямо – можно через подставную фирму в другой стране. Так вот и утекает в СССР стратегически важное оборудование, а то и просто вооружение. Так или иначе, а по данным А. Саттона из Стэнфордского уни-

верситета* до Второй мировой войны (в 20-е — начале 30-х) одна только Германия построила СССР 17 артиллерийских заводов и *все подводные лодки,* а также авиационные и танковые заводы. Это необычайно интересное исследование, которое особенно любопытно читать русскому. Вдруг выясняешь, что буквально все промышленные центры и крупные заводы были построены иностранными кампаниями (иногда даже иностранными рабочими и в кредит). Ну, ровным счетом все то, что со школьной скамьи было нам известно как великое достижение социализма.

Скажем, к 27-му году (началу коллективизации, уничтожившей несколько миллионов крестьян и обрекшей страну на голод) 85% тракторов были поставлены Фордом. Угольная промышленность (в особенности Кузбасс и Донбасс), сталелитейная, прокатные заводы, Горьковский автомобильный завод и московский ЗИЛ, Днепрогэс, Магнитогорск, даже ленинский план ГОЭЛРО — все это было создано, поднято, оборудовано западными фирмами. Даже пресловутые "лампочки Ильича" изготовляла какая-то немецко-шведская фирма (саначала в Ярославле, а потом в Москве, Ленинграде и Нижнем Новгороде). В отличие от западного, русский читатель, конечно, заметит два существенных обстоятельства:

---

* Antony Sutton, Western Technology and Soviet Economic Development, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, Calif., Vol. 1-2, 1968-1971.

1) на всех этих стройках собственно строительными, тяжелыми работами занимались заключенные;

2) большая часть этих гигантских проектов -- энергетика, металлургия, машиностроение -- создали основу советской военной мощи. То есть опять два аспекта тоталитаризма: внутреннее угнетение и внешняя агрессия -- идут рука об руку, экипированные демократическими странами Запада.

Может, все-таки не нужно торопиться признавать такие "реальности"? Может быть, не всякая "стабильность" заслуживает признания? И не так уж нам безразлично, едят в соседнем государстве человечину или нет? А худой мир все-таки не лучше доброй ссоры в иных обстоятельствах?

Прагматизм -- всего лишь вежливое название для беспринципности; оттого он так и удобен на первый взгляд. Прагматики процветают при всех режимах, они удобны для всякой власти, ибо всегда поддерживают силу, независимо от того, что эта сила представляет собой. Но именно поэтому их всегда ненавидят, даже больше, чем палачей. Тех -- время придет, и самих повесят; прагматики же опять будут ни при чем.

Пагубность прагматической политики в отношении тоталитарных стран, это только одна сторона медали. Если в обычных условиях ненависть к прагматикам так и остается бессильным чувством, в нашу эпоху глобальной идеологической войны эта ненависть создает предпосылки для успеха противника, подг

ву для его пропаганды. В самом деле, не удивительно ли, что США, демократическая и по сути своей неагрессивная страна, помогающая слаборазвитым странам во много раз больше СССР, получает в награду за свои усилия лишь постоянно растущую ненависть? СССР же, при всей своей агессивности, до сих пор ходит в хороших. Откуда этот дружный антиамериканизм?

Конечно, ответ здесь не может быть однозначным. Тут и особая подверженность населения слаборазвитых стран заболевать "детской болезнью левизны", обусловленная экономическими тяготами. Тут и умелая советская пропаганда, ловко выставляющая робкие американские попытки обороняться в виде стремления к мировому господству. Тут и европейская социалистическая ментальность, по которой богатый всегда виноват перед бедным за то, что тот бедный. Но еще — вот этот самый классический враг — прагматизм и удивительная неумелость, бездарность американских политиков и администраторов. В основе этой неумелости лежит некий парадокс: с одной стороны, традиционно и по своей естественной склонности, США тяготеют к изоляционизму; с другой стороны, обстоятельства (и, в первую очередь, глобальная советская угроза) толкают их в лидеры демократического мира — роль, к которой они совсем не готовы. В результате их вмешательство в дела внешнего мира недостаточно энергично и глобально, чтобы эффективно его защитить, но достаточно велико, чтобы породить негативные реакции этого мира. Двойственность позиции ведет к поло-

винчатым решениям, которые, в свою очередь, ведут к проигрышу.

Сценарий этого проигрыша удручающе однообразен. Следуя своей прагматической концепции, США спешит признать "стабильные" авторитарные режимы и сотрудничать с ними. Разумеется, гораздо лучшие отношения с Китаем. Вся беда, оказывается, в том, что их не слушаются. Еще бы! Послушать их, так и Кубу надо скорее признать -- ведь Кастро вполне стабилен, а кубинские войска стабилизируют положение в Анголе. Весь мир давно был бы невероятно стабильным, если бы их слушались.

Всего этого, конечно, не знают и, в пылу своей революционности, не в состоянии понять люди, выросшие под властью стабильного диктатора. Свой опыт всегда кажется убедительней, а этот опыт рисует им вполне четкую, черно-белую картину. С одной стороны -- "плохие ребята" американцы, с другой -- "хорошие ребята" советские коммунисты. При такой ясности, конечно же, рано или поздно, под напором "хороших ребят" наш стабильный диктатор окажется на грани краха. И опять перед прагматиками неразрешимая проблема: с одной стороны, нельзя бросить в беде союзника -- это плохо отразится на прочих союзниках и союзах, да и новый стабильный режим, идущий на смену предыдущему, уж слишком враждебен; с другой стороны, предстоит ввязаться в антинародную, противоестественную для Америки войну, заведомо обреченную на неудачу. Чего доброго, придется вводить свои войска, а тогда начнут гибнуть "американские парни", а этого дома не потерпят.

Добавим сюда еще одну американскую беду – бездарную администрацию. Как-то мы с друзьями встретили бывшего южновьетнамского офицера, теперь эмигранта, и поинтересовались:

– Как вы ухитрились проиграть войну? Ведь на вашей стороне были и американские войска и лучшее в мире вооружение? Или вы не знали, что ждет страну в случае вашего поражения?

– Все мы знали, – ответил он с горестью. – Но как же тут выиграть, если американцы не просто дают вам помощь, но обязательно начинают распоряжаться: сюда стреляй, а туда не стреляй; там бомби, а здесь не бомби. Так невозможно воевать. Они же ничего не понимают в нашей специфике.

Позднее, ближе познакомившись с американским административным стилем, я гораздо лучше понял, что имел в виду этот вьетнамец. За нехваткой места приведу лишь один незначительный, но достаточно иллюстративный пример – работу радиостанции "Свобода".

Где-то после Второй мировой войны, в разгар так называемой "холодной войны", наконец, дошло до американцев, что нужно хоть как-то отвечать на советскую пропаганду. По крайней мере, дать населению СССР и стран Восточной Европы не контролируемый советской цензурой источник информации. Однако вместо того, чтобы с самого начала делать весьма нужное дело вполне открыто, решено было "на всякий случай" рассматривать это как разведывательную операцию – радиостанцию секретно финансиро-

вало ЦРУ, разумеется, всячески отрицая это. Почему надо было прятаться, я, видимо, никогда не пойму. Говорят, иначе сенат и конгресс не пропустили бы ассигнования – ведь это "недружественный акт" по отношению к СССР! (В то же самое время советские тратили миллиарды на антиамериканскую пропаганду – как открытую, так и тайную, нимало не смущаясь.) Да и что плохого в информировании одураченных коммунизмом людей? Как бы то ни было, но станции финансировались секретно. Ну, а где секреты в Америке, там и разоблачения. Разоблачения же всегда дают привкус чего-то незаконного, почти преступного. Разумеется, большие умники и миролюбцы типа сенатора Брайтфул (или Фулбрайт, хотя первое больше подходило к той роли, которую он себе избрал) не преминули использовать этот привкус, чтобы настойчиво требовать закрытия станции как мешающей установлению более дружеских отношений с советским партнером. Само существование станции было постоянно под угрозой, пока, наконец, кому-то не пришло в голову: а почему бы нам не финансировать ее открыто? И действительно, почему бы? Так с недавних пор и стали делать к большому неудовольствию всех американских Брайтфулов.

Однако некая атмосфера недозволенности так и осталась. В частности, цензура. Вашингтонское бюро по радиовещанию (официально управляющая станцией организация) регулярно выпускает некое "Политическое руководство". А там – какой только чепухи нет. И что

тон дикторов, оказывается, не должен быть слишком злобный, и что не нужно отвечать советской пропаганде, не нужно ее опровергать, не нужно склонять людей к бегству из СССР (т.е. не нужно слишком хвалить Запад, чтобы людям не захотелось убежать), не нужно подстрекать их к бунту против властей, а ежели такой бунт, не дай Бог, случится сам по себе, то нужно стараться успокоить советское население и уж ни в коем случае не давать советов... Словом, как и вьетнамцам, указано, куда стрелять и где бомбить. Если бы эта инструкция действительно сотрудниками исполнялась, то передачи радио "Свобода" ровно ничем не отличались бы от Московского радио. Так оно и получилось в разгар "разрядки", ибо радиостанция строго следовала в фарватере извилистой американской политики. Уже само по себе занятно, что радиостанция с названием "Свобода", призванная научить бедных русских демократии, установила у себя политическую цензуру. То есть, борясь за демократию, американцы почему-то этой демократии не доверяют. Но это лишь полбеды.

Далее произошло то, что, по-видимому, происходит со всеми американскими государственными учреждениями: бюрократический штат стал расти, как на дрожжах, число же способных работать настоящих журналистов – катастрофически сокращаться. Сохранив, видимо, с "нелегальных" времен какие-то традиции, этот штат стал укомплектовываться, в основном, либо из негодных, проштрафившихся дипломатов, либо из доказавших свою неспособность на иных по-

прищах работников ЦРУ и иных государственных мужей. Моментально станция превратилась в последнее пристанище для неспособных чиновников, которых выгнать совсем неудобно, а лучше перевести "с повышением на другую работу". При этом бюджет станции стал расти пропорционально ухудшению ее работы. По их же собственным отчетам, число слушателей в СССР стало сокращаться. Более того, как-то сама собой установилась дискриминация: специалисты из числа советских эмигрантов за равнозначную работу стали получать значительно меньше бездельничающих американских дядей (как в добрые колониальные времена). К настоящему времени бюджет достигает астрономической цифры в 94 миллиона в год (стоимость почти четырех бомбардировщиков), и этих денег *не хватает* для эффективного функционирования станции. Да если б американский конгресс просто давал эмигрантам из СССР хотя бы одну пятую этого бюджета, Советский Союз уже трещал бы по швам. Но именно этого-то, видимо, американцы боятся: нарушится стабильность! А потом, как можно, чтобы без контроля!

Не знаю, насколько справедливо было бы переносить этот пример на более крупные американские начинания, но есть же что-то в нем и типичное -- по крайней мере, сама эта двойственность намерений: с одной стороны, вроде бы противостоять мировому бандиту, с другой -- поддерживать с ним "баланс" и стабильность. Словом, американцы так и не знают, чего же они хотят.

Зато это хорошо знают советские, стремительно расширяющие свое влияние в третьем мире, использующие каждую американскую оплошность. Из их когтей уже ни одна страна не выходит, чтобы рассказать соседям, какими детскими игрушками выглядит "американский империализм" по сравнению с советским освобождением. Есть такая русская притча: в лютую морозную зиму перелетал воробей из одной скирды сена в другую. Но, видимо, не рассчитал он своих сил, замерз и упал на дорогу. Шла мимо корова, сжалилась над беднягой и навалила на него большую теплую лепеху. Согрелся воробей внутри, оттаял, высунул нос наружу, огляделся и обнаружил, что находится в недостойном месте. "Помогите! Спасите! -- закричал он в возмущении. -- Безобразие! В дерьмо посадили!" О ту пору шла мимо кошка. "Ах, ты, бедненький, -- замурлыкала она. -- Что с тобой сделали! Ну, не горюй, я тебя сейчас вытащу". Вытащила она воробья и съела. Отсюда три морали:

1. Не всяк тот враг, кто тебя в дерьмо сажает;

2. Не всяк тот друг, кто тебя из дерьма вытаскивает;

3. Попавши в дерьмо, сиди и не чирикай.

Беда в том, как мудро отметил Никита Сергеевич, что коровье дерьмо еще не предел человеческого познания.

* * *

Учитывая все вышесказанное, остается только поражаться, насколько же прочная штука демо-

кратия. Но если что-либо и способно довести ее до краха, так это профессора "политических наук" и советологи. В Америке в особенности существует необычайное почтение перед "образованностью", тем более перед научными степенями. Знание же понимается весьма своеобразно – как некая вещь, которую вам надлежит использовать вместо ваших мозгов. То есть, чем вы образованней, тем меньше вам полагается пользоваться собственным разумом и интуицией. Трагедия же в том, что по какому-то неписанному закону эти профессора обязательно выдвигаются на руководящие государственные посты -- как дань вышеозначенному почтению. Это вообще очень типично для американцев: они ужасно верят в специалистов, а специалисты у них есть на все случаи жизни. Скажем, если американец влюбился, он не пойдет вздыхать на луну или стихи писать, он пойдет к специалисту по любовным делам. В общем, как только у вас есть "problem", вы идете к соответствующему специалисту, и он должен все вам решить. Ну, а Советский Союз, конечно же, "problem", это все американцы понимают. Соответственно, "советологическая община" имеет исключительно большое влияние на направление американской политики в этом важнейшем вопросе.

Вот эти-то самые профессора, которые зачастую даже русского языка не знают и в лучшем случае проболтались несколько лет в искусственно созданной атмосфере американского посольства в Москве, призваны разрабатывать концепции и теории, которыми потом руководству-

ются президенты и госсекретари. Некоторые из них сами занимают весьма высокие посты, претворяя свои теории в практику.

Впрочем, как часто бывает, невозможно четко определить, кто на кого в конечном итоге влияет, ибо господствующие теории и концепции чаще всего поразительно соответствуют интересам той или иной части истеблишмента. Как это получается, я не берусь судить. Созданы ли они по заказу или получили признание в силу такого случайного соответствия – не так уж важно для существа вопроса. Но факт остается фактом, как это весьма остроумно показано в блестящей статье Льва Наврозова "Что ЦРУ знает о России" ("Commentary", No. 3, vol. 66, september 1978).

Так или иначе, но эта комбинация невежества, доктринерства и эгоистических соображений, наукообразно оформленная и убедительно изложенная, ставши ведущей концепцией, оказывается настолько разрушительной, что способна лишить Запад последних шансов выжить. Даже в тех редких случаях, когда возникает возможность как-то воздействовать на противную сторону, эта возможность старательно обходится по рекомендации наших "экспертов".

Вот вам маленький, но достаточно иллюстративный пример. В феврале 1972 года перзидент Никсон посетил Китай, имел встречу с Мао Цзэдуном с глазу на глаз. Фотография этих двух лидеров, таинственно о чем-то шепчущихся за закрытыми дверьми, появилась в мировой прессе, приведя советских в состояние еле скрываемой

паники. Даже нам, сидящим в тюрьме, было очевидно (исключительно по советской прессе), что страх и смятение в Кремле необычайно велики и что наши вожди пойдут на весьма значительные уступки, лишь бы залучить к себе Никсона как можно скорее и сделать такую же фотографию с Брежневым. Это был тот уникальный случай, когда весьма просто, без особых усилий и риска, одной только дипломатией можно было многого добиться от "неуступчивой" советской власти. Инициатива сама просилась в руки Никсону, и чем несговорчивей он тогда оказался бы, тем больше бы выиграл. Умелый игрок мог бы даже попытаться сделать из этого положения поворотный момент в отношениях между двумя блоками, ибо страх перед Китаем в СССР огромен. Это, пожалуй, единственное, чего они всерьез боятся. И что же? *Через три месяца* Никсон был в Москве, в объятиях Брежнева, *не потребовав ничего.* Желанная советским фотография приватной встречи двух вождей была получена задаром. Мы ломали себе голову, терялись в догадках. Как водится, оптимисты считали, что какие-то секретные уступки были все-таки получены. Не могут же американцы быть такими идиотами, чтобы бросаться козырями! Как теперь выясняется,* могут. Не кто иной, как мудрый доктор Киссинджер, уговорил Никсона не тянуть с поездкой в Москву, потому что "не нужно да-

---

* См. "Мемуары Никсона", 1978.

вить на русских слишком сильно". К чести Никсона надо отметить, что он колебался: интуиция подсказывала ему иной курс действий. Но авторитет маститого профессора оказался слишком высок. Характерно, что перед приездом высоких гостей власти предприняли кампанию по очистке Москвы от диссидентов, многие из которых поплатились свободой из-за этого странного визита, что, без сомнения, было визитерам известно, так как широко освещалось иностранной прессой. Но даже этого они не попытались предотвратить, полные иных, более возвышенных планов. Все, что получили, – это резиденцию в Кремле, что, конечно, большая честь, никому не выпадавшая со времен Наполеона.

Так же, как и для Наполеона, дорога в Москву оказалась дорогой отступлений и катастроф: начавшаяся с неверной ноты разрядка ни к чему иному привести не могла. Сама доктрина разрядки – лучший образец того, как ведущие политологи помогают Западу вернее и скорее проиграть. Его четыре основные концепции, во-первых, неверны, во-вторых, внутренне противоречивы. Вернее, это даже не концепции, а красивые фразы.

1. СССР – такое же государство, как и западные. Оно так же хочет мира, как и мы. Я уже говорил, насколько это предположение далеко от истины, очевидно ошибочно даже на первый взгляд, даже полуграмотному человеку. Но ведь на то и профессора, чтобы учить нас, полуграмот-

ных, уму-разуму. Целые библиотеки написаны, чтобы нам облегчить восприятие этой мудрости.

2. Обеим сторонам нет иной альтернативы, кроме разрядки. Выбор предопределен: или война (а, значит, уничтожение мира), или разрядка. Звучит грозно и категорично, однако озадаченный обыватель чешет в затылке: куда же девалась эта проклятая альтернатива? Ведь вот уже полстолетия прожили с Советским Союзом -- и ничего. Что же такое произошло вдруг в мире, отчего исчезла альтернатива? И затем: если они также хотят мира, как и мы, то откуда же неизбежность войны без разрядки? Наконец, может быть, эта неизбежность появляется, только если ее принять, т.е. если начать разрядку?

3. Разрядка будет способствовать либерализации советского режима. Минуточку, как же так? Зачем же нужна в СССР либерализация, если это такая же страна, как и мы?

4. "Не-нужно-давить-на-русских-слишком-сильно" и "не-нужно-требовать-от-русских-слишком-много". Это уж совсем непонятно. Если СССР так же хочет мира, как и мы, если ему тоже нет иного выбора, кроме разрядки, то почему же "не нужно"? И потом -- что значит "слишком"? Кто и как это определяет? (На практике, как мы знаем, это означает *совсем не требовать и не давить. Ведь альтернативы нет.)* Как понимать эту странную фразу-двойника? Скажем, если мы подписываем с СССР соглашение, то заведомо известно, что СССР его может не вы-

полнить (нельзя же от них требовать "слишком много"), а мы выполнять обязаны (нельзя же на них слишком "давить"). Но это не беда. Ведь они такие же, как и мы. Мы – джентльмены, и они – джентльмены.

По сути дела, разрядка – вовсе не новость, а периодически повторяемая Западом ошибка. Каждый раз, когда нежизнеспособная советская экономика заводит систему в тупик, советские вожди вдруг меняют гнев на милость и снисходительно предлагают "нормализовать отношения", "разрядить международную обстановку" и, конечно же, расширить торговлю. И каждый раз Запад принимает это за чистую монету, кидаясь с распростертыми объятиями навстречу "русским", радостно вопя: "Вот видите! Мы Мы же говорили, что они такие же люди, как и мы, что они тоже жаждут мира". Произносится масса патетических речей о миролюбии и ответственности за будущее человечества. "На этот раз русские действительно имеют в виду то, что говорят". "Русский медведь – хоть и грубоватый, но вполне добродушный зверь". В эйфории мечтаний уже видится всеобщее разоружение, взаимное доверие и небо, усеянное голубями. (Для кремлевских стратегов этот период означает не более, чем смену тактики: ведь для того, чтобы сломать проволоку, ее нужно непременно гнуть в обе стороны.)

Ну, а главное – экономика опять развалилась. Однако, "идеологическая борьба от этого не прекращается". Парадоксально, но факт: приведенные выше слова Брежнева были сказаны им

вполне открыто (как, впрочем, до него говорились Лениным, а потом Сталиным и Хрущевым в периоды очередных "разрядок"), но их никто не хочет замечать всерьез. Сейчас же на сцене появляются профессора, уверяющие публику, что сказанное лишь уступка "ястребам в советском руководстве со стороны голубей". Видите ли, как и мы: у нас есть "ястребы" и "голуби", и у них тоже. Стало быть, добрый дядя Брежнев (Ленин, Сталин, Хрущев) -- несомненный голубь, обманывает своих партийных товарищей ради дружбы с Западом и мира во всем мире.

Все это красноречие -- лишь для широкой публики, для профанов. На практике этот период для Запада -- еще одна попытка откупиться, купить мир у хищника. А вдруг в этот раз выйдет? Им нужна наша помощь? Отдайте и не торгуйтесь. Сытый коммунист лучше голодного. Может, уймутся, наконец. Это типичная психология жертвы, которую мне часто приходилось наблюдать где-нибудь в пересыльной тюрьме, когда урки грабят какого-нибудь Фан Фаныча.

-- Да что вы, ребята... Да вот, пожалуйста, возьмите... Да я разве против помочь...

Они же его и оберут, и по шее врежут для потехи, и под нары загонят. И будет он потом служить забавой для всей камеры. Та же психология и у какого-нибудь арестованного КГБ подпольного милиционера.

-- Ты думаешь, ты им нужен, старый дурак? Деньги твои нужны, золотишко. Отдай все и отпустят, -- шепчет наседка. На то же намекает

и следователь. И как не поверить, что можно сторговаться с родной советской властью. Чай, тоже люди... В результате ему -- пуля, наседке -- помиловка, следователю -- премия.

И даже свои "ястребы" с "голубями" есть, а как же? Это ведь старый прием как у чекистов, так и у блатных. Скажем, один следователь -- ястреб, а другой -- голубь.

-- Ты будешь, сволочь, признаваться, или я тебя, туда и сюда твоих предков, сгною!!! -- рычит один.

-- Ива Иваныч, постой, не горячись... -- уговаривает второй. -- Ну, зачем же так, сразу... сгною и все прочее ... Ну, что человек о нас подумать может? Что мы, звери, что ли? Ты иди, остынь, Иван Иваныч, а мы здесь поговорим... Да он парень хороший, мы и так договоримся... Зачем гноить хорошего человека...

Да ведь вся советская политика основана на этой запланированной двойственности. Один -- МИД -- миротворцы, другие -- Коминтерн (а теперь его эквивалент в ЦК) -- хищники. Это извечный прием, и не говорите мне, что на Западе о нем не знают. Эта вот вечная чехарда "разрядки" и "холодной войны" -- не более, чем чекистская комедия с ястребами и голубями. Но так уж устроен мир, что вечно будут в нем урки и Фан Фаныччи и вечно каждый из них будет играть свою роль.

Скажите, вы всерьез верите, что поставками из-за границы можно помочь либерализации экономики? Да это и ребенок на пальцах вычислит, что как раз наоборот -- *отсутствие посторонней*

помощи заставит провести реформы. Вы всерьез верите, что товарищ Брежнев изменяет с вами своим корешам? Да он и дня бы не прожил, решись он на такой трюк. Вы верите в этот курятник в Кремле? Полноте, не в первый же раз.

Года два назад норвежские психиатры, неожиданно проголосовавшие в Гонолулу против резолюции, осуждающей советские злоупотребления психиатрией, рассказали мне, как это произошло. Оказывается, чешская делегация уговорила их на этот шаг.

-- Если резолюция пойдет, -- уверяли чехи, -- то советская делегация официально выйдет из Всемирной Ассоциации Психиатров, а нам придется последовать их примеру, чего мы совсем не хотим. Мы хотим сотрудничества с вами.

Разумеется, когда резолюция все-таки прошла, советские и не подумали выходить из ВАП, так же как и чехи.

-- Вот черти, -- смеялись норвежцы, -- провели нас. Ну, в следующий раз будем умнее.

Конечно же, это был традиционный трюк с "ястребами" и "голубями". Если и теперь у кого-то остались сомнения, советую обратиться к психиатрам. Все-таки тоже специалисты.

Но вернемся к разрядке. В наступающей атмосфере безграничных мечтаний любое действие СССР истолковывается только с хорошей стороны, в благоприятном свете. Продолжают гонку вооружений? А это они от страху! Мы их, бедных, так запугали в прошлые годы (?), что у них возникла мания преследования. *Пусть создадут себе преимущество, тогда не будет ос-*

нований нас бояться. И хоть бы кто задумался — кого же это так испугались советские? Уж не своего ли лучшего друга Жискар д'Эстена или не менее дорогого друга Вилли Брандта? Может, Англию, которая собирается *односторонне* разоружаться? Америку, отложившую в долгий ящик почти все военные проекты? Японию, не имеющую армии? Любой простой человек, без ученых степеней, удивился бы, что генералы, *выигравшие* мировую войну, так, оказывается, напугались, что с тех пор, вот уже 35 лет, чувствуют себя "небезопасно". Да, в конце концов, — засомневался бы непросвещенный человек, — какая нам-то разница, оккупируют нас с испугу или по расчету? Но профессорам, как мы помним, думать не полагается. Их обязанность применять знания.

Дальше — хуже. Договоры не выполняются. Советская экспансия усиливается, новые и новые страны становятся ее жертвой. Но и это не беда. Главное, учат нас эксперты, оставить советским некий "золотой мостик" для отступления, дать им возможность "спасти лицо". Война еще идет полным ходом, афганский народ еще сопротивляется, а западные политики наперегонки летят в Москву, спасать лица. И не то их беспокоит, что целая страна пропала с карты мира, а что разрядка подорваться может. Вторглись в Афганистан? Это всего лишь "русская традиция", извечное "стремление к теплым морям". И правда, замерзли, небось, ребята, погреться захотелось. Вот беда, сетуют специалисты, послать

бы русским друзьям вместо себя кубинцев -- никто бы так не волновался.

Усилилось советское влияние в Европе? А что в том плохого. Финляндия -- это идеал сотрудничества, к которому надо стремиться. Безопасность гарантирована. "Лучше жить под чужим знаменем, чем под моральным давлением Америки" (немецкий журнал "Штерн"). "Лучше финляндизация, чем атомизация" (1-й канал немецкого телевидения). "Финляндия -- политика разума" (французская газета "Монд"). "В случае оккупации СССР все равно будет поставлять нам газ" (депутат австрийского парламента). "Лучше жить на коленях, чем умереть стоя" (парижский писатель Каванна по французскому телевидению).

Словом, как в советской пословице: "Скорей бы война, да в плен сдаться". Позвольте, да как же так получилось? Да ведь начинали мы с того, что *обе* стороны заинтересованы в мире *одинаково,* что разрядке нет альтернативы для *обеих сторон?* Почему же это вдруг у них альтернатива есть, а у нас нету? Ведь это им нужна была помощь, они же нас просили, не мы их. Зачем же было ввязываться в игру, у которой потом нет альтернативы? Это значит с самого начала отдавать себя в зависимость, с самого начала предвидеть, что придется жить на коленях.

В ответ вы услышите много ценных доводов и целых теорий. Не то меня поражает, что неизменно находятся такие теоретики, а то, с какой готовностью этим теоретикам верят. Есть что-то патологическое в этой готовности мира верить

любой успокоительной дребедени. Не нужно быть психоаналитиком, чтобы понять: за всем этим словоблудием скрыто лишь одно – СТРАХ. Тот самый страх, который сковал нас всех: и в России, и здесь – единой цепью, через всякие границы. Цепенящий, животный, иррациональный страх, в котором стыдно признаваться. И пока мы его не преодолеем, ни вам, ни нам никуда не убежать.

Так у нас грустно шутят над собой, рассказывая притчу о двух бедолагах, приговоренных к смертной казни:

– Ну что, бежим? – предлагает один другому.

– А хуже не будет?

* * *

Однако, возразят мне, разве разрядка не была направлена прежде всего на улучшение положения людей в коммунистических странах? Разве не призвана она была обеспечить уважение человеческих прав? Разве расширение обмена людьми и идеями не в интересах самих диссидентов? Что же, значит, ровным счетом ничего полезного эти попытки в себе не содержали?

Это очень типичное возражение, лишний раз показывающее, как мало люди осведомлены о том, что получается на практике при воплощении внешне красивой идеи. Особенно, когда мы не учитываем истинных намерений у сторон, ее воплощающих. То есть у одной стороны – наличия воли и желания ее честно воплощать, у другой – воли и желания добиться от другой стороны такого воплощения.

Безусловно, любой из нас может только приветствовать расширение обмена людьми и идеями, и если это действительно расширение обмена, не на бумаге, а на деле. Ведь это означает для нас свободный (или хотя бы более свободный) доступ в страну неподцензурной информации, в частности, скажем, иностранной печати, книг, периодики. Это означает, как минимум, *право* искать, получать и распространять информацию и идеи любыми способами и независимо от государственных границ (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека), а, стало быть, неподсудность такой деятельности.

Подписание соглашений в Хельсинки в 1975 г. не изменило существующей в СССР ситуации. Аресты, длительные тюремные сроки и иные преследования за такую вполне законную деятельность не прекратились и не сократились существенно. Власти и не подумали привести свою практику и законодательство в соответствие с новым международным соглашением. Одновременно западная пресса и книги не приобрели статуса легальности на территории СССР. Даже библию отбирали (и продолжают отбирать) у иностранцев на советских границах. Таким образом, с самого момента подписания Заключительного Акта в Хельсинки советские власти продемонстрировали полнейшее нежелание выполнять свои обязательства.

С другой стороны, западные правительства, подписавшие Заключительный Акт, не проявили желания твердо настаивать на советском выполнении положений о свободном обмене информа-

цией. Ограничиваясь формальными протестами в особых, наиболее вопиющих случаях нарушений этого пункта, в целом большинство этих стран придерживалось той точки зрения, что "не нужно требовать слишком много". Они настойчиво проповедовали доктрину о "вредности открытых протестов для самих диссидентов", хотя именно диссиденты, даже находящиеся в заключении, неоднократно заявляли об ошибочности этой концепции. Даже президент Картер, прекрасно начавший президентский срок кампанией в защиту диссидентов, чем спас от немедленного ареста около 20 человек, вскоре почему-то уверовал в точку зрения "экспертов" вопреки всем нашим сообщениям. Так или иначе, но открытую кампанию он прекратил и до конца своего срока не возобновлял. Даже начав кампанию за бойкот Олимпийских игр в Москве, он ни разу не упомянул о правах человека в качестве причины бойкота. В 1978 году, когда мы начали эту кампанию, общественный отклик был более благоприятным, чем после инициативы Картера в 1980 году. В этом сказался, конечно, и антиамериканизм, и некоторое общее нежелание поддерживать профессиональных политиков в их "играх". Но, по моему убеждению, основной удар был нанесен именно этой необъяснимой сверхосторожностью Картера в вопросах прав человека в СССР. Дискуссия между сторонами приняла иное, совсем нежелательное русло, что позволило сторонникам Игр полностью игнорировать нашу хорошо разработанную, порою не-

опровержимую и близкую людям правозащитную аргументацию.

В целом правительства и их "эксперты" делали упор на предпочтительности "тайной дипломатии", которую, как известно проконтролировать со стороны трудно, да и для советских она и вполовину не так эффективна, как открытый общественный протест. Это же ставило и западные страны в слабое, двусмысленное положение: ведь непонятно, почему надо тайно просить то, что зафиксировано как обязательное в международном соглашении. Сама законность Хельсинкских договоренностей как бы ставилась под сомнение.

Справедливости ради надо отметить единственную уступку СССР -- прекращение глушения большинства западных радиостанций, вещающих на Советский Союз. Однако это улучшение во многом было сведено на нет внезапным смягчением тона и содержания самих радиопередач руководством радиостанций, что позволяло предположить возможность некой предварительной договоренности между СССР и этими странами. Позднее, в 1980 году, глушения были возобновлены в полной мере в разгар событий в Польше.

Таким образом, практически мало что было достигнуто политикой детанта в этой сфере. Скорее наоборот, как следует из факта смягчения тона радиостанций и настоятельных рекомендаций прибегать к "тайной дипломатии" вместо гласных протестов, многие западные страны приняли "де факто" советское толкование международной защиты прав человека как не-

законное "вмешательство во внутренние дела" стран советского блока. В то же время советская пропаганда и прочая подрывная деятельность нисколько не сократилась, даже возросла, под предлогом "расширения обмена идей и информации".

Одновременно Советскому Союзу, в общем, удалось навязать западным странам свое толкование самого понятия "обмен идеями, информацией и людьми". Хотя формально это никогда признано не было, однако опять же "де факто" под этим термином стал молчаливо признаваться только такой обмен, который получил официальное советское одобрение, и такими идеями и информацией, которые прошли официальную цензуру.

Я не помню примера, чтобы правительство какой-нибудь западной страны *активно и открыто* пыталось расширить навязанные им рамки советской легальности в вопросе обмена идеями и информацией. Зато я знаю пример американского посла в СССР М. Туна, который категорически запретил сотрудникам посольства брать у советских граждан какие-либо документы самиздата или получать через посольство и раздавать гражданам СССР какие-нибудь книги, не дозволенные советской цензурой. Этим самым он как бы признал, что положение Заключительного Акта о "расширении обмена информацией и идеями" ограничено положением этого же Акта об "уважении внутреннего законодательства страны", а такого обязательного ограничения вовсе в Акте не содержится. Напротив, сказано, что

страны, подписавшие Акт, обязуются привести свое внутренне законодательство в соответствие с положениями Акта. СССР этого не сделал, а Запад не настаивал. Поскольку наши жалобы правительству США на действия Туна ни к чему не привели, следует считать, что США такую интерпретацию принимают.

Если что и было достигнуто в этой (и других) сферах, то произошло это не благодаря детанту, а вопреки ему, людьми и организациями, возмущенными аморальной политикой детанта и сознательно ей противодействующими.

Примерно то же самое можно сказать и о других гуманитарных положениях Хельсинкского Акта. Например, в такой важной области, как расширение научного и культурного обмена. Хотя общий объем таких обменов временами и увеличивался, однако и здесь советским удалось навязать Западу свои интерпретации и выгодные односторонне для них "правила". Поездки за границу ученых и деятелей культуры остались под твердым и произвольным контролем советских властей, что позволило им "пускать" желательных и "не пускать" нежелательных по какой-либо причине людей. Большое число выдающихся деятелей науки и искусства, видимо, занесены в списки "неблагонадежных" и никогда не получают разрешения на поездки, что, согласитесь, противоречит смыслу Хельсинкских соглашений. С другой стороны, определенные люди получают зарубежные командировки и разрешения на поездки регулярно, что позволяет советским, во-первых, оказывать давление на ученых или

деятелей искусства, принуждая их к конформизму или сотрудничеству, так как возможность ездить за границу – одно из величайших благ для человека, живущего в СССР вообще, для ученого или артиста – в особенности.

Путем же искусственной дискриминации советские власти могут по желанию возвысить специалиста, создать ему ореол международного признания и увеличить таким образом влияние угодных им людей на профессиональный мир. Хотя коллеги за рубежом часто пытаются протестовать против этой дискриминации, я не помню ни одного случая открытого и энергичного вмешательства правительств. Совсем напротив, подписанные правительствами официальные договоры о научном и культурном обмене нигде на Западе (за исключением Швеции) не предусматривают права одной стороны приглашать и обязанности другой стороны удовлетворять приглашение *конкретного* специалиста. Между тем, этот недостаток часто делает этот обмен бессмысленным, а научное или культурное сотрудничество практически невозможным, поскольку для такого сотрудничества чаще всего нужен конкретный, известный своими работами специалист, а не какой-либо специалист вообще.

Культурные и научные обмены свелись к пустой формальности, не внеся в советскую жизнь большей свободы творчества, не укрепив связей интеллигенции со своими коллегами за рубежом, но ставши лишь еще одним орудием тоталитарной власти в закрепощении интеллиген-

ции и укреплении позиций официальной партийной культуры. Более того, отобрав постепенно из идейно близких им западных интеллектуалов некий круг "друзей Советского Союза", в известной степени СССР удается коррумпировать и западную интеллектуальную элиту: скажем, начинающему западному писателю огромные советские тиражи (да и признание) вовсе не безразличны. Персональное приглашение в СССР кого-либо из западных людей не встречает, да и не может встретить сопротивления со стороны их правительств. Разумеется, по приезде им покажут только то, что хотят показать, обеспечат контакты преимущественно с "надежными" людьми. Разглядеть такую подтасовку совсем не столь просто, как многие думают: у советских огромный опыт по части таких постановок.

Один приятель рассказывал мне, например, как иностранные делегации, следовавшие в Москву через его полустанок, регулярно встречала подготовленная и разодетая в национальные костюмы группа местных артистов (дело происходило в Молдавии), которые тут же, на перроне, устраивали песни и пляски. Поезд же останавливался всего минут на 15-20. Перед приходом поезда на вокзальных лотках раскладывался шоколад, фрукты и дефицитные товары, а цены выставлялись баснословно низкие. Разумеется, все население городка знало об этих спектаклях, но местных жителей не пускали на перрон, чтобы они не раскупили вмиг пропагандистских това-

ров. Только особенно ловким, особенно мальчишкам, удавалось иногда проскользнуть до прихода поезда и поживиться. Ну, кто из западных посетителей мог бы даже заподозрить такую грандиозную операцию, проводимую ради его скромной персоны в заштатном городишке, где его поезд остановился на несколько минут? Соответственно, возвратясь к себе домой, иностранный посетитель с его репутацией "очевидца" становится проводником советской пропаганды, даже сам того не подозревая.

Таким образом, даже самая простая форма обмена -- туризм -- оборачивается советскими властями к своей политической выгоде. Советский турист за рубежом -- это привилегированный, надежный человек; иностранный турист в СССР -- потенциальный разносчик дезинформации. К тому же он -- источник иностранной валюты, столь нужной властям. Вообще туризм, с его строго фиксированными маршрутами и перенасыщенной программой разглядывания памятников, можно лишь в шутку считать средством улучшения взаимопонимания между народами. Как раз наоборот, советским властям он служит средством скрывать правду. 99,9999% территории страны закрыто для туристов не из-за военных секретов, как это официально объясняется, а из-за ужасающих условий жизни населения. Даже от Москвы турист не имеет права отъехать более, чем на 40 километров, под угрозой уголовного наказания, если он предварительно не согласовал маршрута -- процедура, которая может занять многие месяцы.

Места же, в которые попадает большинство туристов: Москва, Ленинград, Киев -- это показательные города, вроде упомянутого выше полустанка, где и снабжение и порядки значительно лучше обычных. Скажем, если в Москве вдруг исчезло из продажи мясо, это означает, что в провинции его нет уже несколько месяцев. Что же тут может понять иностранец, пробыв пару дней? Гости Олимпийских игр в Москве, например, хоть и неоднократно предупрежденные прессой о готовящемся грандиозном обмане, тем не менее, в массе своей обмана не заметили. Русские, по их впечатлениям, попавшим в некоторые газеты здесь, "вежливы, готовы помочь, дружелюбны и совсем не стремятся к войне". "Восхитительно было попасть, наконец, в такое место, где никто не говорит о войнах или ядерном оружии". Один пишет, что за 9 дней в Москве он "не заметил никакой пропаганды", другой, что "продуктов было полно, даже слишком много", третий за все время "встретил только одного полицейского", четвертого поразила "свобода и нормальность простых людей". И никакими судьбами вам теперь этих людей не переубедить. Еще бы: ведь они все это видели своими глазами!

Да и какой смысл в "расширении контактов между людьми", если каждый советский человек *обязан* быть солдатом Великой Идеологической Войны, а западный человек вовсе не считает себя борцом за демократию? Какой смысл говорить красивые слова о мирном сотрудничестве, если одна из сторон ведет не прекращающуюся ни днем, ни ночью войну?

Многим может показаться странным, что с момента начала ”эры разрядки” положение внутри СССР лишь ухудшилось. Но это совсем не удивительно. Во-первых, своему народу надо показать, и притом в самой доходчивой форме, что разговоры о мире, ослаблении напряженности и каких-то правах, которыми вдруг наполнились газеты, предназначены вовсе не для их ушей, а ведутся для иностранцев. Во-вторых, получивши от Запада то, что было нужно, какой смысл демонстрировать теперь готовность к ”либерализации”?

Вот, пожалуй, самый наглядный и символический пример того, к чему привела разрядка на практике. Почти два года назад семь человек прорвались на территорию американского посольства в Москве. Эти люди, две семьи верующих, уже много лет добивались разрешения уехать в любую страну, где бы их не преследовали за их веру. Здесь же, в СССР, им довелось испытать абсолютно все: и тюрьмы, и психушки, и насильственное изъятие детей, которых они пытались воспитывать в религиозном духе. 16 лет подвергались они гонениям за свою веру и все эти годы надеялись уехать. Однажды, лет десять назад, отцу семьи удалось побывать в американском посольстве, и ему обещали посодействовать. При выходе из посольства он, однако, был арестован и заключен в тюрьму. Теперь, по прошествии стольких лет, они решили возобновить контакты и ходатайство. Войти в американское посольство в Москве (как, впрочем, и в любые другие посольства) просто так нельзя: оно охра-

няется милиционерами в форме и агентами КГБ в штатском. Так что, если человеку нужно туда войти, есть только одна возможность – попытаться прорваться. Поймают – посадят, ухитришься прорваться – арестуют сразу, как выйдешь. В этот последний раз их сына схватили, а остальные прорвались. Сына зверски избили, и он еле живой через некоторое время попал домой. Видя столь зверскую расправу, семья отказалась выходить *и с тех пор живет в посольстве.* Им еще сказочно повезло, хотя посол (все тот же небезызвестный Малькольм Тун) предпринял все возможное, чтобы их выпроводить. Отвел им одну комнату в подвале, не допускал к ним прессу, постоянно посылал к ним кого-нибудь из сотрудников посольства уговорить уйти добровольно, намекая, что могут и силой выставить. При этом посол и его подручные отлично знали, что, как только они выйдут, их неминуемо ждут тюрьмы и психушки. Американская бюрократия и КГБ прекрасно нашли общий язык в этом деле. "Разреши одним, завтра здесь будут тысячи," – вот их платформа.

Получать или отправлять письма через посольскую почту им не разрешают. Через советскую же почту ничего не пропускает КГБ. Но они мне пишут регулярно нелегальными способами. По их подсчетам, в день у посольства ловят от 10 до 15 человек, часто семьи. Вот что они пишут:

> Бывает больно смотреть, когда тащат под нашим окном и кто-нибудь из американцев стоит и улыбается этому. Мы, как звери, кидаемся на решетку окна и кричим, визжим, свистим, потому

что невозможно наблюдать молча. После нескольких часов не можем прийти в себя, и нас трясет. Недавно взяли мужа, жену и трех девочек 9-ти, 7-ми и 5-летних. Жену увели вперед, а отца несли 4 милиционера нарастяжку, и все они, даже маленькие дети, кричали: "Помогите! Помогите, американцы!". Дети побегут за матерью, потом вернутся к отцу, на него кинутся, обнимают, а он висит между четырех милиционеров и тоже кричит".

"Сейчас, в основном, делают так, чтобы мы не видели, и даже теперь вокруг посольства отвозят, чтобы даже на машине не везти перед нашим окном. Они через консула нам передали, чтобы мы не кричали, когда будут тащить людей. Мы стыдили их перед консулом, да и консулу сказали, что теперь они американцев ни во что не ставят, если осмелились такое передать через него. Они даже не считают нужным скрывать, что люди идут в посольство, т.к. посольские сами не заинтересованы, чтобы люди шли к ним за помощью. Они хотят жить спокойной жизнью. Бедные, бедные русские люди, так много мучения выпало на их долю, почти столько же, как на долю евреев".

"Только у посольства сколько было взято, огромное число тех, которых мы видели, а сколько еще мы не видели. Перед Олимпиадой всю ночь кричали люди, которых вылавливали и волокли на угол, где их душегубка. Это были ночи ужаса, а милиция – как львы, сидящие в засаде на добычу. Кричали дети, кричали женщины, мужчины. Если понравится какая, то берут ее, и она кричит, а они потом приходят оттуда пьяные и рассказывают, какая лучше, какая сама, обозлившись, сказала: "На!". Они думают, что говорят тихо, ведь пьяные. Послушаешь – и волосы дыбом встают от их разговоров".

Между тем, существует советско-американская консульская конвенция, согласно которой должен быть обеспечен *свободный доступ* для граждан, желающих получить информацию о порядке эмиграции. Как же допускает американское правительство, что из их посольства в Москве устроили какую-то ловушку? Почему не протестует посольство каждый раз из-за нарушения консульской конвенции? Очевидно же, что если бы доступ был действительно свободный и никого за вход в посольство не наказывали, то люди бы и не стремились ворваться, не отказывались бы выходить. Зачем же вообще была подписана эта конвенция, если ее не собирались выполнять? Для создания атмосферы "сотрудничества" у посольства?

Заключать договоры с Советским Союзом имеет смысл только в том случае, если у вас есть намерение и способы заставить СССР выполнять их часть обязательств. Подписанием договора с СССР борьба не заканчивается -- начинается борьба за его выполнение. Столь желанный западным либералам "диалог" с Советским Союзом можно вести, только зажав их в угол и сдавив пальцы на их горле. Другой формы диалога они не понимают и тут же норовят прижать в угол вас. Чем вы пытаетесь быть вежливей, уступчивей, тем хуже.

Как-то в лагере я встретил пожилого украинца, учителя литературы, человека необычайно вежливого и воспитанного, из тех, что даже муху не обидят. Слыша, например, лагерную матерщину, он краснел как девушка и старался неза-

метно отойти в сторонку. Но почему-то именно его лагерный кагебешник все время наказывал -- сажал в карцер, лишал посылок из дома и свиданий с женой. Заинтересовавшись, я расспросил его об отношениях, сложившихся у него с кагебешником.

-- Понимаете, -- говорил он удрученно, -- он меня регулярно вызывает на беседу и уговаривает с ним сотрудничать...

-- Ну, а вы что?

-- А что я могу сказать? Я извиняюсь и отказываюсь, говорю, что это совсем не в моем характере. Не умею я этого... Как же я буду смотреть в глаза тем, на кого доношу?

Мне стало жаль старика, и целую неделю я учил его отборнейшему мату. Поначалу наука давалась ему с трудом, иногда он чуть не плакал. Но к концу все-таки мог выговорить несколько слов достаточно твердо и не покраснеть. Я все же беспокоился, сможет ли он повторить их кагебешнику не смутившись, достаточно убедительно. К счастью, он осилил себя. Отсидев 15 суток за "нецензурную брань", что вызвало изумление всего лагеря, он вышел, и больше ни разу кагебешник не вызывал его.

Это не шутка. Психология кремлевских вождей совершенно та же. Да многие из них и просто прошли через работу в КГБ. Беда только, что я не могу открыть школу матерщины для западных дипломатов и политиков.

* * *

Черт его знает, и почему это все размышления да разговоры "русских путешественников" неизбежно заканчиваются рассуждениями о дерьме? Точно нам уж и поговорить не о чем. Можно же ведь и помечтать о чем-нибудь прекрасном, пусть даже маловероятном. Но, видно, все у нас происходит, как в том анекдоте про человека, видевшего беспокойные сны. То сказочные пещеры, наполненные драгоценными самоцветами, то вдруг много-много золота. Всюду золото, куда только ни протяни руку. Золото... золото... золото...

– Ты что там шаришь по постели? Что ищешь? – будит его жена.

– Да вот, понимаешь, приснилось, что вокруг золото сплошное.

– Спи, дурак, какое тебе золото. Чего придумал...

Вот заснул он опять и снятся ему кучи дерьма. Всюду, куда ни сунься.

– Ты что, опять золото ищешь? – ворчит жена.

– Да нет, теперь вот дерьмо приснилось, много дерьма... Стой, а дерьмо-то и вправду есть...

ЭПИЛОГ

Прошло четыре года с тех пор, как щурясь точно от яркого света, впервые оглядывался я по сторонам в безмятежном городе Цюрихе. Четыре года -- и срок-то, в общем, небольшой, и проскочил он быстро, а сколько же всего произошло, изменилось. Уже не просыпаюсь я перед рассветом с недоумением: "Скоро ли подъем? Когда же начальник застучит остервенело в дверь своим ключом?" Прошлое тускнеет, перестает казаться реальным, новое же становится таким привычным, точно всю жизнь здесь прожил. И где теперь "у нас", а где "у них", что "наше", что "ваше" -- совсем перепуталось. Только иной раз услышишь в новостях об очередном аресте или суде в Москве -- и словно что-то защемит внутри.

А так, -- хорошее ли, дурное, все забывается с поразительной быстротой. Недавно журналист из одной крупной американской газеты вдруг спросил меня:

-- Скажите, а как же вам удалось эмигрировать? Вас что, отпустили по изральской визе?

Другой удивил еще больше, уговаривая посетить Америку:

-- Стоит, знаете, съездить хоть один раз, посмотреть страну, Вашингтон, Белый Дом...

Все чаще и настойчивее спрашивают меня теперь:

-- Что вы думаете о Западе?

И каждый раз я стараюсь увильнуть от этого вопроса. Коротко не ответишь, а длинно никто слушать не станет.

Так было и с этой книгой. Я ни за что не хотел ее писать. И, Бог мне свидетель, если бы не фантастическая настойчивость моего издателя, никогда бы писать не стал. Еще не прошло достаточно времени, чтобы это недавнее прошлое улеглось. Все, что у меня есть, -- это впечатления, а впечатления обычно отражают скорее прошлый опыт и психологию наблюдателя, чем сам объект его наблюдений. Впечатления всегда категоричны, им не достает оттенков. Изложенные же в краткой форме, они поневоле изобилуют широкими обобщениями, часто совсем неоправданными. Наконец, впечатления всегда противоречивы и непоследовательны, случайны и ненадежны, к тому же самые занятные из них приходится опустить, если они связаны с конкретными лицами: негоже ведь выставлять хорошего человека в нелепом виде просто потому, что он неловко подвернулся вам под руку.

Издатель был неумолим.

-- Ладно, -- сказал я в сердцах, -- будет вам книжка. Только потом не жалуйтесь. Нас с вами забросают камнями и разорвут на части. Нас сожгут на медленном огне, как еретиков при инквизиции.

... И в самом деле, что за странная затея. Точно какой-нибудь иностранный путешественник, приехавший по сибирской магистрали, из конца в конец огромной страны, с остановками в го-

родах покрупнеее не дольше, чем двадцать минут, -- ну, что он может увидеть из окна вагона? То-то возмутятся потом местные жители, читая его рассуждения.

Впрочем, как смотреть. Я тоже когда-то проехал не одну тысячу километров по российским железным дорогам. Считал от скуки вагоны встречных товарняков, слушал на рассвете паровозные гудки, протяжные, точно зевота, пил по утрам чай из стаканов с неизменными подстаканниками. Все эти однообразные перроны, разъезды и Богом забытые деревеньки стираются потом из памяти почти бесследно.

Остается *впечатление.* Там, где дорога проходит вблизи деревень, обязательно выходят к полотну дети. Дождь ли, мороз ли, а две-три неподвижные фигурки непременно торчат, глядят вслед поезду с какой-то неизменной тоской, словно вся жизнь прошла мимо.

Ни разу не замечал я на Западе, чтобы дети так смотрели вслед поезду.

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СССР: внутренние противоречия,
редактор *Валерий Чалидзе,*
вып. 1, цена – 15.00

В выпуске:

Игорь Бирман. Противоречивые противоречия (заметки о советской экономической теории и практике);

Наталия Садомская. Новая обрядность и интеграция в СССР;

Борис Шрагин. Оппозиционные настроения в научных городках;

Валерий Чалидзе. О праве наций на самоопределение;

Семен Глузман. Страх свободы: декомпенсация психического состояния или феномен существования?

Иегошуа Яхот. Судьба статистики и математических методов социологии (30-е годы);

Владимир Козловский. Материалы к изучению языка одной субкультуры. Московские таксисты;

Георгий Давыдов. О заключенных-уголовниках;

Самиздат.

* * *

Второй выпуск посвящен экономическим проблемам.



Photograph courtesy of Rosemary Winckley

Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 г. Один из первых и наиболее активных участников правозащитного движения в СССР. Был неоднократно репрессирован. В 1972 г. был осужден к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

В декабре 1976 г. был обменен на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана. Живет в Англии.

Книга Владимира Буковского ”И возвращается ветер ...” опубликована издательством ”Хроника” в 1979 году. Цена – 12 долл.